

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

891.71

Ш-66

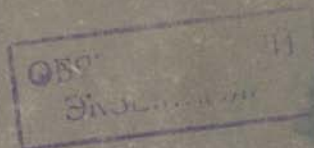
210529

ЖИТИЕ
АРХИЕРЕЙСКОГО
СЛУЖБИ



1 р. 60 к. переплет 50 к.

C-21



Склад изданий.
Книгоцентр ОГИЗ'а
№ 211 тир.

V.N. Karazin Kharkiv National University











PK-1

89171
~~ш-66~~

54

В И К Т О Р Ш К Л О В С К И И

ЖИТИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖКИ

210529 ~~48~~

~~РЕЗЕРВНО~~
1937 г.

БИБЛИОТЕКА
№ 31040
Профсоюзно

~~ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА~~

~~58~~

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

~~58~~

№ 211

Отпечатано для Издательства Писателей
в Ленинграде в количестве 5.200 экз. — 4¹/₂ л.
20-й типографией ОГИЗ'а им. Евг. Соко-
ловой, Ленинград, пр. Красн. Команди-
ров, 29. Заказ № 1325. Ленинградский Об-
ластлит № 18850. Обложка художника
М. Кирнарского. Сдано в набор 18/IX 1931 г.
Подписано к печати 22/X 1931 г. Стат-
формат Б₅ 176×250 мм. Типограф. зна-
ков 63.232. Ответств. редактор И. Груз-
дев Технический редактор Г. Сорокин.

1931

В32 247

Центральна наукова
бібліотека ХДУ
ІНВ. № _____

РОЖДЕНИЕ ОНОГО

В двадцатый день марта 1752 года, по старому греко-российскому исчислению, в семье, все предки которой были священниками, родился и закричал младенец.

Младенец этот нашел в священном звании из родственников своих двух дедов и отца.

Дед священствовал в Севском уезде в пятистах верстах от Москвы, в селе Родогоже, на реке Нерусе, а другой дед по матери — в том же уезде в селе Неваре.

Мальчик рос. В 1756 году родогожский дед его уехал в Москву для окончания тяжёбного дела с соперниками своими. А в 1757 году, апреля 12, умер отец.

Имя отца было Иван, фамилия Добрынин.

А сына его звали Гавриилом.

Сейчас же при вести о смерти сына старик впал в горячку.

Плакал Гавриил Добрынин на реке Нерусе, жалко ему было отца.

Жить было нечем. Нужно было ехать к другому деду, неварскому.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ К ДЕДУ

По прибытии к деду неварскому жил у него Гавриил почти год, и исполнилось ему семь лет.

Велел дед ему положить в землю три поклона перед иконой, и начали они вступление в науку азбуки.

А наука эта была свирепая. Говорилось тогда, что ангельское нужно терпение ребенку для того, чтобы научиться складывать слово — ангел.

Учение тогда было замысловатое. По регламенту славяно-греко-латинской академии учение состояло из фары-класса, где учили читать и писать по-латыни, инфимы, где преподавали славяно-русскую и латинскую грамматику, синтаксису, реторику, философию и богословие.

Префект оной академии по регламенту должен был быть не весьма свиреп и не меланхолик.

Доучивались в академии до вопросов: где сотворены ангелы, могут ли они приводить в движение себя и другие тела, как они мыслят и понимают — посредством соединения, различения, или как-нибудь иначе, а также каков объем ангела.

Но Гавриил Добрынин для науки этой не достиг. Говорится, что доброе начало — половина дела. Неварский дед кончил дело на этой половине. Между тем из Москвы прибыл родокожский дед.

Прибыл он в Севский Спасский монастырь для dokonчания в оном по указу московской духовной консистории тяжёбного своего с неприятелями.

Природа вложила в него сердце мягкое, хотя и кляузное. Поэтому написал он письмо о присылке ему внука в Севск.

Но неварский дед не находил надобности отягощать себя нарочною подводою.

Жребий Гавриила колебался между двумя дедами не малое время.

Наконец, после светлого праздника на десятую пятницу решила судьба быть Гавриилу в Севске.

Потому что в день этот бывает в Севске ярмарка. И на ярмарку эту послал неварский священник племянника своего Степана за сухой рыбой, называемой таранью, а заодно поручил ему и отвезти внука. Мать Гавриила осталась пока при своем отце.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ОТ ОДНОГО ДЕДА К ДРУГОМУ

Родогожский дед, увидев внука, схватил его на руки с восхищением и, прижимая к груди, называл оставленной ему от бога на утешение отраслью и другими именами.

Дед был по натуре боек, памятлив, понятлив, горяч, предприимчив, неустрашим в злоключениях и терпелив в горестях.

Долговременные по присутственным местам иски правосудия против злодейских и разбойничьих на него нападений послужили ему к знанию в судоведении, и, ежели бы ему да образованность, то был бы он человек государственный.

Родогож принадлежал графу Чернышеву, а управляем был смоленским шляхтичем — Краевским.

Краевский, злобствуя на деда по причине его судебной предприимчивости, а может быть и за любовную предприимчивость, захватил его насильно, затащил в конюшню и мучил там насмерть.

Рано умерла жена родогожского деда.

По правилам у священника второй жены нет, и должен быть вдовец монахом.

Потащили деда по монастырям. По монастырям тащил он свою тяжбу с Краевским.

Тоска держала родогожского деда.

С тоски познакомился он с рукоделиями, столярничал, портняжничал, переплетал. По вечерам сидел дед под деревом с внуком.

Уже заперты монастырские ворота.

Не для старика подстенные лазы, а вечер хорош.

И тут под деревом пел запертый старик любимую свою песню.

Ах! как трудно человеку
Жить без счастья в младом веку,
Печаль тяжко сокрушает,
Сердце в скорбех всегда тает.

Ах, молодые мои лета!
Что дражайши всяка цвѣта!
В несчастии уплывають,
Дряхлу старость ожидают;
Когда ж пройдет цвѣт младости,
Не чаешь быть уж в радости.
С весны зима неприятна.
Ах! жизнь наша так превратна!
В старом веке нет покою,
Только бѣлезни с бѣдою;
Тогда счастье хоть бы было,
Уж в старости не так мило!
Счастье, где ты пребываешь?
Или с зверьми обитаешь?
Перестань счастье со зверьми жити,
Прийди бедну послужити.

Смысл этих стихов понятен.

Под опекой деда прожил Гавриил в монастыре почти три года, и научился он не только читать, но даже и писать.

Архимандрит, прослышав об этой образованности, подарил Гавриилу старый свой полукафтан из зеленой китайки на вате.

Перешли этот самый кафтан, и стал сам Гавриил похож на архимандрита.

Сей архимандрит именовался Иннокентий Григорович. Был он из казначеев Троицкой Сергиевской лавры. А после того переведен в Серпуховский Высокий монастырь.

Наступило в монастыре междуцарствие.

Есть греческое слово стомах.

Стомах — значит желудок.

И есть послание апостола Павла к Тимофею «не пей воды, но мало вина приеми, стомаха ради твоего».

В силу этого текста пили монахи ради стомаха.

Священное писание — вещь мудрая.

Например, существует предписание о постах.

Но существует и другое предписание, что в гостях нельзя отказываться от пищи, даже скоромной.

Поэтому, когда требует стомах скоромной пищи, ходят монахи друг к другу в гости по кельям.

Едят, запивают.

В таких упражнениях случилось в один вечер старому монаху Илиодору поссориться с дедом Гавриила.

После этой ссоры дед лег спать и положил внука подле себя. Но чернец не был забывчив.

Когда погасили свечу и все позаснуло, взял чернец полено и пришел в комнату деда.

Удар пришелся по Гавриилу.

Гавриил закричал.

Вздули свет, все встали.

В междущарствие управлял монастырем казначей, отец Савва Требартенский. Дело слушалось ночью. Разбудили другого старца монастырского Варфоломея, пошли по комнатам со светильниками. Чернец был схвачен, биение сердца его выдавало. Сам он чинил запираательства.

Дед настаивал, чтобы черноризца допрашивали под пристрастие, или он такой напишет донос, что завтрашний день и судимый и судьи забраны будут в севскую провинциальную канцелярию.

Судьи этими выговоренными с гневом словами были напуганы. Ключник был совсем безграмотный, а у казначея дед вел приходные и расходные книги и все дела, значит, знал.

А допрос с пристрастием — это допрос в пыточном отделении, называемом также немшонной баней.

Допрашивали при дыбе, а дыбой назывался прибор для подвешивания. К ногам человека привязывали бревно, а на бревно становился палач.

А по спине допрашиваемого водили зажженным венником и били кнутом.

Снимали с дыбы, вправляли руки.

Пытали до трех раз, и звалось это — служить три обедни.

Пытка наказанием не считалась, а считалась только средством узнать истину.

Вот почему испугались судьи, и выдали они чернеца деду головой.

Чернец пал деду в ноги.

Дед настаивал, что по монастырскому уставу должен быть наказан чернец трапезными четками, а трапезные четки состояли из тяжелых шаров, нанизанных на веревке, длиной почти в аршин. Били этими четками с медленным прочтением трех раз покаянного Давыдова пятидесятого псалма.

Чернец запросил пощады и во избежание большего зла просил наложить на него цепь. Мягкосердечный дед Гавриила постановил, возложив на обидчика цепи и рогатку, посадить его в пустую башню на неделю, чем и кончилось все действие.

Монастырские же оковы были более чем полуторпачевые, а рогатка — это железный обруч с тяжелой железной палкой, вбок идущей.

Рогатка не давала человеку не лечь, ни встать.

Сидел чернец в башне, и какие песни он там пел, неизвестно.

Приехал в это время новый архимандрит, старец Пахомий.

Человек старый до дряхлости. Не успел он водвориться в своих покоях, как произошло на него большое среди монахов недовольствие.

Недовольствие это было в двух пунктах.

Пахомий по дряхлости в праздничные и торжественные дни не просил братию к себе на водку.

Пахомий уничтожил печение по субботам блинов, а по воскресеньям пирогов.

Донос взялся составить монастырский служка Семен Малышев. Этот человек, несмотря на молодость свою,

соребновал по славе родогожскому деду и не менее того считался искусным в приказных делах. Искусство это приобрел, будучи в бегах и проживая в городе Кинешме в качестве слуги у тамошнего воеводы, которого ябедничеством своим довел до тайной канцелярии.

Опытный этот человек уверял монахов, что архимандрит богопротивник и нужно крикнуть на него по первому и второму пункту.

Первый и второй пункт обычно обозначали слово и дело.

Первый пункт — это кто виновен в дерзновении против бога и церкви.

Второй пункт — это оскорбление или знание намерений против государя и государства.

Для этих двух пунктов и была учреждена тайная канцелярия.

Тайная канцелярия была место такое, от одного имени которого люди падали в обморок.

Мальчик, слушая заговор, не понимал, что такое первый и второй пункт, и думал, что первый пункт — это запрещение печь блины, а второй — печь пироги, и считал преступление ужасным.

Служка Малышев был человек смелый и к виске на дыбе привычный, потому что доносчика тогда тоже пытали.

Вбежал он в севскую провинциальную канцелярию и закричал там слово и дело.

Во исполнение законов наложили на архимандричью старость оковы, отослали с доносителем свидетелей (а свидетелями были все монахи) в тайную канцелярию.

Здесь открылись новые важности. Оказалось, что архимандрит во время всенощной на торжественный день тезоименитства государыни императрицы приказал стихи читать, а не петь.

Малышева Семена приказано было наказать телесно

и отдать в солдаты, а архимандриту было приказано петь, старостью и подагрой не отговариваясь.

Окончившаяся таким образом экспедиция, то есть делопроизводство, не оставило без подозрения и хитроумного, предприимчивого, памятливого, бойкого и неустрашимого в злоключениях родогожского деда.

Архимандрит испросил от московского митрополита повеление о переведении сего хитроумного доносчика вместе с тяжёлым делом его в Николаевский Столбовский монастырь, отстоящий от Севска в пятидесяти верстах. Туда за дедом последовал и Гавриил, которому было в это время уже десять лет.

ПРЕБЫВАНИЕ В СТОЛБОВСКОМ МОНАСТЫРЕ

Столбовский монастырь отстоит от Родогожа в семи верстах.

Архимандрит Варлаам Маевский, получив к себе в монастырь бойкого, памятливого и предприимчивого, неустрашимого в злоключениях добрынинского деда, был испуган.

Поэтому отправил он старика в Родогожскую пустынь с глаз долой. А Гавриила Добрынина оставил при себе как бы в виде заложника. У Гавриила был уже в это время голос — дискант. Так что пребывание его у архимандрита тем самым оплачивалось.

Дед, удаленный в пустынь (так назывались в России малые монастыри, в которых не было архимандритов или игуменов), на архимандрита уже ни по первому, ни по второму пункту жалобиться не мог.

Пострижена в монахини была мать Гавриила, и поселилась она в Севском женском монастыре.

В Столбовском монастыре монахи часто зазывали к себе в келью Гавриила, любясь его миловидностью и внушая ему попутно желание возлюбить добродетель и удостоиться получить ангельский чин.

В этом чине считали себя все пребывающие монахи и в том числе родоужский дед.

Однажды во время вечернего в церкви моления один из черноризцев, отец Арсений, пользуясь отсутствием в церкви архимандрита, соскочил с левого клироса, поднял свою мантию, схватил ее в один узел, прижал к самой груди и начал прыгать по церкви, как обезьяна, но в такт церковному песнопению.

Натурально и понятно, что Арсений был пьян.

Прижки черноризца показались Гавриилу забавными. Он чувствовал, как украсилась ими вся вечерня.

Показалось Гавриилу, что, если он все эти действия перескажет архимандриту, то, может быть, он заставит отца Арсения еще попрыгать для общей забавы и введет это действо на вечерне как постоянное.

Но, выслушав Гавриила, архимандрит рассудил иначе, он послал отца Арсения на неделю в монастырскую поварню дрова рубить, воду носить.

За все это черноризцы Гавриила возненавидели, считая его не без справедливости доносчиком.

Архимандрит же мальчика полюбил и неоднократно заставлял его в своей келье представлять действо прыгающего чернеца, а сам при этом смеялся со всех сил и прихлопывал в ладони.

За тихими этими радостями чины ангельские получили большое огорчение.

В 1764 году окончила свое дело комиссия о церковных имениях. Называлась эта комиссия еще кроме того духовной.

Указом сената Императрица Екатерина Вторая объявила об утверждении доклада комиссии.

Монастырских крестьян было исчислено 911 тысяч, исключая Малороссию и губернии Харьковскую, Екатеринославскую, Курскую и Воронежскую, где исчисление было произведено позднее. Крестьяне были переведены на оброк, а впоследствии раздарены.

Нужно сказать, что императрица Екатерина, чем становилась старей, тем к своим любимцам становилась благотворительней.

Монастырей же было исчислено 947, из них мужских 728 и женских 219. Разделены были монастыри на три класса. В первом считалась 15 монастырей, во втором — 41, в третьем — 100. На все эти штатские монастыри положено было выдавать в год 174 750 рублей. А на женские монастыри было в год оставлено 33 тысячи рублей. Кроме того были оставлены 161 монастырь без доходов, а остальные или упразднены, или обращены в приходские церкви.

Столбовский монастырь был закрыт, с обращением его в церковь.

Гавриила перевели из Столбовского монастыря в Родогожскую пустынь.

ВНУК СНОВА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ХИТРОУМНЫМ ДЕДОМ

Три года прожил мальчик с дедом вместе, учился пению по ноте, а также циферному исчислению.

Дед на бумаге исчислил ему всю невыгодность нынешнего монастырского положения, и мечты об ангельском чине отлетели от Гавриила.

Иногда мальчик отъезжал в Столбовское духовное правление для помощи тамошнему канцеляристу писать духовные ведомости о бывших и не бывших у исповеди.

В течение сего времени учреждена была Севская епархия, и Севский Спасский монастырь преобразован был в дом архиерейский, а Родогожская пустынь со многими другими монастырями уничтожена.

Уже далеко зашла наука Добрынина, читал он многие книги — и «Похождение Жилблаза де Сантиланны», сочинение господина Лесажа, и того же сочинителя книжицу под названием «Баккалавр саламанской, или похождение дона Херубин да ла Ронда».

В книжечке «Баккалавр саламанской» снискивал себе человек fortuna на службе архиепископа Мексики.

Но как попасть в Мексику из Родогожа?

В 1765 году повез родогожский дед внука своего, российский, так сказать, Жилблаза, с намерением пристроить его в Севск, в консисторию.

Но консистория (то есть духовная канцелярия) была уже укомплектована.

Нужно было вновь искать предмета должностного или училищного. Народных училищ тогда в России не было. Из семинарий самая ближняя в пятистах верстах, то есть в Москве.

Да и та была только тем хороша, что лучше ее не было.

Пока непостижимая судьба пеклась о Гаврииле Добрынине, с больше матерною силою, ходил он каждодневно в домовую вотчинную графа Чернышева контору для усовершенствования в писании.

Вотчинные конторы крупных господ во всем облике своем подражали государственному управлению и как бы сами собой представляли такие государства.

Вотчинный управитель, приказчик и бурмистр изображали из себя присутствующих членов, земский писарь — секретаря.

И все они, кроме управителя, были крепостными людьми Чернышева.

Контора состояла из двух чистых горниц и разделялась на столы, или на полаты.

Слово это старое, но в России его запомнили надолго в производном слове «повытчик». Слово это вы можете знать хотя бы из «Мертвых душ» Гоголя.

Судейский стол за перилами, покрыт красным сукном. На нем уложение царя Алексея Михайловича, а также повеления и формы графские об управлении вотчиною.

Правили вотчиной через повытчиков крестьяне-богатей и делали в вотчине, что хотели.

На стенах — изображение царской фамилии и генеральная сей вотчины карта.

Карта же в большем масштабе лежит у стены в специально выдолбленном бревне свернутой.

Напротив канторы кладовая для хранения денежных сборов. Караульная и архив.

В этой академии, под руководством деда, совершенствовал свои таланты Добрынин. Отсюда же он делал и выезды.

Восьмого мая в 1766 году выезд сделан был к упраздненному Столбовскому монастырю к Николину дню на ярмарку.

Ярмарки, как правило, устраивались на монастырской земле и приурочивались к монастырским праздникам, или монастырские праздники к ним приурочивались.

Взяв с собою чернильницу и бумагу, выехал на этот праздник и Добрынин. Зная все обычаи, побежал он в церковь и встал у окна. Богомольцы, которыми набита была церковь, совершали непрерывные молебны, нанимая священномонахов.

Начали они подходить к Гавриилу, прося о написании имен на карточках за здравие и упокой.

Гавриил начал усердно содействовать молебствию за добровольную плату. Через несколько часов почувствовал он уже в кармане вес нескольких медных гривен.

Это усугубило его ревность и заставило возвысить цену, что, однако, горячих богомольческих сердец не могло отвлечь от исполнения их добрых намерений.

Богомольцы морщились, но платили.

Добрынин брал спокойно деньги до тех пор, пока не увидел, что время пробежало к вечеру на куртаг, в карете, заложенной бесчисленными минутами, в препровождении неисчетного числа жребиев человеческих, кои все меж собою столько различествовали, как и человеки.

Меняя непомерно и беспрерывно все, само время, казалось, презирало перемену.

Время бежало к вечеру, оно бежало, оставя Гавриилу Добрынина воспоминания о дне святого Николая и шестьдесят копеек, собранных с богомольцев. Сумма по тому времени немаловажная.

ДЕЙСТВИЯ СУДЬБЫ

По возвращении из Столбова домой, вызван был Гавриил повелением севского архиерея Тихона Якубовского.

Потому что слух и о дисканте и о ласковости Гавриила Добрынина уже распространился через вотчинную контору Севска до архиерейских палат.

Тот самый старый монах Илиодор, который ударил когда-то мальчика поленом, был уже иеромонахом и архиерейским духовником.

Этот старец, не будучи мстительного нрава и предвидя, как далеко может пойти Гавриил, рожденный от такого корня, как родокожский дед, уведомил, что он может устроить свидание с архиереем. По заплате келейному десяти копеек допущены были просители к его преосвященству.

Оно сидело на вызолоченных деревянных креслах в гарнитуровой, темновишневого цвета, рясе и в штофном, зеленого цвета, подряснике.

Панагия, то есть образок, висела на его преосвященстве не очень блестящая, круглая, величиной в медный пятак.

И сему православия столпу поклонились просители в ноги.

Его преосвященство произнесло тихим голосом:

— А! Это тот мальчик, о котором говорили мне многие. Для чего ты давно его мне не привез, я его назначил в певчие.

Прощай, мечты о бакалавре саламандры, прощай, мечта о шпаге и шляпе с пером.

Житие архиерейского служки. 2



Ангельский чин промелькнул перед Добрыниным своими крыльями.

Имя певчего поразило Добрынина, как громом, мрак покрыл чело его, и слезы покатались.

Архиерей, приметя это, подозвал мальчика поближе и спросил о причине плача.

— Я ноты не учился, почему и певчим быть не го-
жусь, — проплакал Добрынин, утаивая о своих нотных
знаниях. — Хотелось бы мне быть в консистории при
пере.

Тогда архиерей приказал Добрынину на столике,
стоящем в комнате, написать на чистой бумаге следую-
щие слова:

«Премудрости наставник и смысла податель слово
отчее Христос бог».

— Ты пишешь не худо, — сказал преосвященный. —
Но надобно поучиться тому, чего ты не знаешь. У меня
и секретарь знает ноту, и сам я по ноте петь умею, и ты,
обучившись нотам, можешь быть даже со временем кон-
систерским у меня секретарем.

Позван был дишкантистый певчий, и приказано
было запеть для пробы кант, сочинения Дмитрия
Ростовского: «Иисусе мой, прелюбезный, сердцу сла-
дости».

Добрынин хоть и лукавил своим голосом, но голоса
скрыть не мог. Поэтому вызван был канцелярист, и
приказано было канцеляристу написать от имени Гав-
риила прошение об определении Добрынина туда, куда
его преосвященству заблагорассудится.

Декрет этот был подписан такой резолюцией:

«Регенту преподобному отцу Палладию обучать пода-
теля прошения, имея его в особенном своем надзирании
и попечении».

С этим жестоким декретом отведены были мальчик и
дед к отцу Палладию.

И здесь на столе увидел мальчик бутылку с водкой.

— Троелистник, — произнес довольно родотожский дед.

— Троелистник, то есть трефолиум, — учись, мальчик, — произнес отец Палладий. — Трава эта полезна от цынги и при закуске.

Трефолиум был роспит, и с этого дня началось для Добрынина пребывание в архиерейском доме, где всего его жития было одиннадцать лет один месяц и пятнадцать дней.

А что там за это время случилось, будет рассказано в следующих главах по порядку.

МОЛЧАНИЕ ПОД БАРАБАН

Имена императоров, при богослужении упоминаемые, менялись.

Только несколько дней пели о здравии императора.

Много лет пелось императрице Елизавете, шесть месяцев пели о Петре Третьем.

При Петре Третьем Голштинском пели беспокойно.

Потеряны были монастырские деревеньки, и иконы велено было вешать выше, чтобы нельзя было к ним прикладываться.

Потом, 28 июля 1762 года, произошло событие. Император Петр был императрицей свергнут и через несколько дней умер, как говорили, от желудочных кол.

Веселие гвардии, поставившей новую императрицу, было велико.

Вино, и откупное хлебное и виноградное, было роздано все, какое было в столице.

Поговаривали о том, что вернут монастырям деревеньки.

Поговаривали о том, что царем будет Орлов.

О многом еще говорили.

Поговаривали об этом и в монастырях, поговаривали тихонько и на улице.

Но в начале июля на улицах забил барабан, и был оглашен манифест следующий:

«Воля наша есть, чтобы все и каждый из наших верно-подданных единственно прилежал своему званию и должности, удаляясь от всяких продерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, к крайнему нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных... Если сие наше матернее увещевание и попечение не подействует в сердцах развращенных и не обратит на путь истинного блаженства, то ведал бы всяк таковых невеждей, что мы тогда уже поступим по всей строгости законов».

Короче говоря, приказано было молчать и благодегсговать.

Гавриил Добрынин молчал и по молодости лет своих пел дискантом.

Каждое утро выходил преосвященный Тихон Якубовский из внутренних покоев в крестовую комнату. Тут давал он всем общее благословение, на что хор пел: «Ис полла ети деспота», то есть да будет благословен владыка на многие годы.

В «подачу», то есть в ту комнату, в которой архиерей принимал посетителей, входили все, имевшие нужду являться к нему. Иероним обыкновенно садился в «подаче» на диван, выслушивал и вызывал одного за другим посетителей и большею частью тут же произносил и писал решения и резолюции.

Многие являлись с жалобами друг на друга, другие вызывались вследствие какого-либо бурного поступка,

о котором как-нибудь узнал владыка. Взыскания в этих случаях были, конечно, различные; виновные получали более или менее строгие выговоры, назначались на черные работы в архиерейском доме, отсылались в монастырь, но очень часто наказывались и телесно, тут же в «подаче» при всех, для всеобщего наидания.

— Э, да ты какой проказник, или сутяга, или негодай, — восклицал владыка. — Вот я тебя поучу. Эй, — прибавлял он, обращаясь к своей прислуге, — плетей сюда!

Разумеется, живо являлись кучера или кто-нибудь из другой прислуги с ремennыми двухвостками.

— Ну-ка раздевайся, да ложись, — приказывалось виновному.

Принято было, чтобы наказываемый снимал с себя все верхнее платье и оставался в нижнем белье. Вот и разделся и растянулся на полу. Для экзекуции из архиерейской прислуги являлись только двое с плетями, а держать должны были предстоявшие духовные, или по назначению владыки, или по выбору прислуги. Отказываться было нельзя.

Четыре человека тотчас опускались на колени, двое держали за ноги, а другие двое за руки, крестообразно расположенные; для двухвосток открывалось свободное место, было где им улечься на обнаженных частях тела. Наказываемый укладывался так, чтобы владыка, не вставая с дивана, мог своими глазами видеть, плотно ли плети прилегают к телу. Больше всего секли причетников, затем дьяконов, не давали спуска и священникам, особенно молодым.

Наказание было жестокое; дедушка, которому не одного человека приходилось держать за руки или ноги, говаривал:

— У, жарко бывало; дрожь пробегала по телу.

Процветал Тихон Якубовский. Приказал он даже ко

дню своих именин, что на 16 июля, ископать пруд в виде своего вензеля: Т и Я.

Пруд копали священники за вино.

По берегам обложили его разноцветными камнями и обсадили цветами.

Был спрошен отец Палладий об успехах добрынинских в партесе. Ответ был, что ученик понимает ноту хорошо. На это последовало приказание шить дишканту шинель, зеленого тонкого сукна, не в пример прочим.

Шинели этой певчие все завидовали и даже прозвали Гавриила секретарем.

Молчание под барабан продолжалось, но вдруг выяснилось, что учитель добрынинский, отец Палладий, с иеромонахом Арсением из России бежали вовсе в Валахское княжество наслаждаться климатом более теплым и жизнью в монастырях с неотобранными деревьями.

Гавриил же продолжал пребывание в империи Российской, ездил с архиереем во все архиерейские разъезды. Пел и в домах и в поле даже «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое» и был за это награждаем.

Не оставлял Добрынин старой своей мечты быть при пере. Вследствие сего преосвященный приказал ему из певческой перейти жить к казначею для помощи казначейскому приказному, и поручено было Добрынину прописание поповских и дьяконских печатных грамот.

В этих грамотах вписывалось на порожних местах, оставленных между печатными строками, имя новопоставленного попа или дьякона, а также куда и в какую церковь и когда посвящен, а внизу подписывался сам архиерей по форме.

Эти прописания доставляли Добрынину дохода около шестидесяти рублей в год, без лишения его и певческих прибылей.

Посему здоровье Гавриила было цветущее. Никакими

дальновидностями или предвидениями, часто пустыми, он не беспокоился.

Читал Лесажа, читал господина Сумарокова и тихо цвел, как цветок в прикрытии.

О НОВОМ ЛИЦЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ, КИРИЛЛЕ ФЛИОРИНСКОМ, ЕПИСКОПЕ В БУКЛЯХ

В начале 1768 года тишайший Тихон Якубовский был переведен на покой в Воронежскую епархию, а на место его произведен в епископы севские Кирилл Флиоринский.

Сей, приехав, сразу произвел Добрынина в стихарь, и получил, таким образом, Гавриил как бы форму и участие в богослужении более официальное.

Теперь должен был он держать перед епископом во время священнодействия книгу, постилать под ноги его преосвященства круглый коврик, называемый орлецом, а также подавать ему пастырский жезл.

Стихари были разных материй, и это Гавриила весьма радовало.

Кирилл Флоринский, он же Флиоринский, как называл он себя по причудливости, был сыном казака Переяславского уезда. Учился в Киевской духовной академии, затем был взят в певчие ко двору императрицы. Но здесь удержался недолго.

Между тем место певчего при дворе при Елизавете было весьма полезно для выдвижения. Но Кирилл, несмотря на немалый свой рост и украинское происхождение, которое в то время во дворе было модно, выдвижения не получил.

Огорченный Кирилл начал посещать лекции физики в Академии Наук.

Затем в 1756 году был пострижен в монахи и отправ-

лен сперва учителем Новгородской семинарии, а затем четыре года служил в посольской церкви в Париже, где изучил французский язык в совершенстве, а также перенял моды и расстроил свое душевное состояние.

В 1764 году из-за ссоры вернулся Кирилл в Москву.

Здесь понравился он императрице Екатерине по причине крупного своего сложения, но только как проповедник, и получил сан епископа Севского и Брянского.

Сей архипастырь, как видевший большой парижский свет, приказал, чтобы все окружающие его в его священнодействии молодые люди были причесаны с буклями, то есть локонами под пудрой.

Трудно было приучать ему к этому закоснелую монастырщину.

Гавриил же Добрынин благодаря чтению романов переводных склонен был к опрятности до щегольства и всегда веселил архипастыря ческой своих волос.

Флиоринский был характера пылкого, высокомерного, горячего, духа твердого и острого разума.

Дар слова и присутствие памяти были первыми его дарованиями. Кроме того знал он французский и латинский языки. Но тоска по Парижу и архиерейские занятия, воспоминаниям его не соответствующие, придавали Флиоринскому характер причудливый.

В архиерейском доме было обыкновение, что произвождающиеся священно- и церковнослужители посылаемы были от архиерея к почетным заслуженным монашествующим для научения читать, писать и для познания церковного устава.

И до тех пор не получали они посвящения, пока учителя не выдавали им письменного свидетельства об успехах. Право выдавать эти свидетельства могли довести доходы учителя до двухсот рублей.

Благодаря умению причесываться в число почетных монашествующих попал и Гавриил, хотя от роду не было ему двадцати лет. Как человек передовой, Гавриил не-

медленно снизил цены, почему поставляемые и бросились на учение к нему именно.

Дело это было сложное и спорное, потому что особыми указами было запрещено брать за поставление священства деньги. Поэтому деньги брали, но ссориться из-за этих денег можно было только тишком.

Но доносы разного вида и остроумия рекою пошли к архиерею.

И тут-то и сказалось все хитроумие Гавриила Добрынина.

Его преосвященство любил толковать в церкви народу псалтырь.

Говорил Кирилл ясно и кратко и сам себя любил слушать, закрывая даже при произнесении от удовольствия глаза и склоняя несколько на бок голову.

Гавриилу, стоя в алтыре, вздумалось записывать любопытнейшие истолкования епископские в тетрадку.

По прошествии нескольких дней догадался Гавриил как бы забыть на окне свою тетрадку при проходе епископа.

Флиоринский посмотрел записки, хорошим почерком написанные. Удовольствие выразилось на его лице. Он подозвал к себе Гавриила и сказал:

— Не один тот бывает учен, кто многим учился наукам, но и тот, кто с примечанием живет. Я в тебе нахожу последнее, продолжай так, как начал, записывай всякое мое слово не только в публичных поучениях, но и в обыкновенных разговорах, ибо я имею столько знания, что меня уже учить никто не в состоянии.

Так похвалил себя Кирилл Флиоринский. После слов этих уже не выпускал при нем Добрынин из рук пера и тетради.

«Помни. — говорил он себе, — что учитель твой учился в Париже, о котором путешественники рассказывают, что там ослов в лошадей переделывают».

ГЛАВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОПИСАНИЮ ПАРИЖА, В НЕЙ
ПАРУС ИСТОРИИ ЭТОЙ НАДУТ ВЗДОХАМИ

В мае месяце поехал преосвященный в город Киев, так сказать, на богомолье.

Был пьян и долог путь.

В пути не торопились.

В Броварах в восемнадцать верстах от Киева дожидался преосвященный своего обоза.

Лавра уже была видна.

Золотые камни церковных глав украшали эту корону.

Голубой Днепр тек мимо белого города.

Быстрым шопотом рассказал дьякон епископу о случае на дороге.

Кирилл не слушал.

Белым венцом стояла лавра там вдали.

Белым венцом стояла она на горе.

Епископ стоял, думал, думал о темных комнатах бursы, о городском бурсацком учении, о Петербурге, о дворце, о неудачах.

— Так как же, выше высокопреосвященство? — спросил дьякон.

— Ах, Париж! — невпопад ответил епископ и мрачный пошел на ночевку.

Торопливо побежал за ним дьякон.

— Ночевать будем здесь, — мрачно сказал Кирилл.

Ночь была темна и тиха. Гавриил спал в передней и вдруг услышал тихий зов.

Большая беленая комната, занятая епископом, тускло освещалась свечой.

Зеленое штофное на вате одеяло при свете свечи казалось черным.

Кирилл сидел в халате.

— Клобы кусают меня, — сказал он. — Покажи руки, — у тебя нету с собой тетради? Не нужно сейчас записывать.

«Вид Киева, юноша, пробудил во мне воспоминания о бурсе, и воспоминания привели меня к воротам Парижа. Я не могу оттуда уйти.

«Клопы кусают меня, мне не спится. Ворота городские, нет таких в Париже, кроме Триумфальной арки, столица, на сердце французов похожая, никогда не затворена.

«Приходите, говорит она всем, лицо земли покрывающим народам, придите, белые, черные, свободные и в обществе любви достойнейших женщин и необходимых мужчин, удалены от невежества инквизиции, познайте во всякое время бытия удовольствие.

«Придите, у меня нет ни застав, ни приблизиться вам воспевающей стражи, прелестный зов мой слышен в краях света, и индеец, как и турок и сицилианин, как и россиянин, бегут, задыхаясь, оставляют свои нравы, отрицаются своего вида и становятся парижскими жителями.

«Не записывай, не запоминай.

«О Париж, о прекрасные стеклянные дома, я вижу со всех сторон одни только люстры и стекла, а это кофейные дома. Считается их в Париже девятьсот. Есть такие, которые на судебные места похожи, и в иных вышние приговоры о сочинениях и авторах заключают. Другие за политические кабинеты почитаются, и там-то люди изучают ведомости как алгебраическую книгу.

«В Париже потребны люди всякого состояния, лекари, кукольники, песенники и даже девки средней добродетели.

«Оные девки, как гребцы, поворачиваются к судьбе своей спиной и к ней доплывают.

«Кареты парижские, величайшей скрытности, перевозят с места на место женщин прекраснейших, избегая просмотра.

«Несчастье Икару случилось оттого, что он был не парижский житель. Ибо воздух парижский и к подъему способен.

«Кошельки на волосы там того же цвета, как платья. О, юноша, ничего так на свете сем не приятно, как сметь все делать. Эти моды прелестны. Модные то-вары составляют здесь музыку для глаз, клавесин цве-тов. Прелат, то есть священник, в модном платье, из дома в скрытой карете едет на любовное приключение.

«Ночь приближается, а Париж кажется не менее бли-стающим. Ряды отскакивающих лучей составляют около Сены наипрелестнейшую иллюминацию, и на завтра солнце взойдет только для освещения прекраснейших путей, ведущих к обворожительным предместьям, где приятные домики находятся в излеществе.

«А какая изобретательность, какие лошади, какое раз-нообразие упряжей, только осетров не запрягают в па-рижские кареты!»

Кирилл помолчал.

Молчал Гавриил, думал, неизвестно о чем. Может быть, о красоте Парижа, а может быть, и о Киеве, ку-полы которого начинали уже блистать за тусклыми стек-лами комнаты.

— Желательно, — продолжал Кирилл, — чтобы коло-кольни в Париже были бы вызолочены. Кроме того, что это соответствовало бы французскому великолепию, это разнообразило бы город.

«Архитектура в Париже, так сказать, увеселяется, де-лая в образе строения домов забавные опыты.

«Дома в Париже можно назвать пригожими уродами.

«Архитектура свободна там, как писание: здания не утверждаются ни полицеймейстером, ни епископом.

«Почерки пера писательского там не менее быстры, как и языка обороты, и всякий там может ожидать, что бу-дет обруган, все для смеха поистине, ибо француз не зол.

«Поговорим теперь о времени. В неделе есть только один день в Париже, как день есть вечность в нашем мо-настыре. Все там начертывается, печатается, все обна-

родуется. Месяц по множеству происшествий стоит там целого года...

Светлело, золотели, рыжели золотом киевские колокола, белого венца лавры криво надеты на зеленый Киево-Печерский город. Голубело небо.

Пропадал в комнате свет свечи.

Кирилл задумался.

— Юноша, — сказал он, — причешишься на завтрашний день, помни, что самое лютое подчинение в Париже есть подчинение волосоподвивателям, и все их слушаются. Об остальном молчи. Бастилия есть единый предмет, на который парижские жители молчаливы.

КИЕВ

Как ни медленно монастырское время, но через несколько часов утро наступило.

Въезд в Киев преосвященного ознаменован был колокольным звоном Печерской лавры.

На другой с приезда день преосвященный со всем своим штатом пошел в предшествии начальника пещер на поклонение святым мощам, хранящимся в этих темных, ветреных подземных коридорах.

Долгий подземельными закоулками ход, из-под сводов которого души преподобных, как говорят, вознеслись в селение небесное, был зрелищем необыкновенным.

По впадинам, лежащим по обеим сторонам, в небольших гробах, вероятно, вследствие тесноты помещения, скорченные лежали тела святых.

На ящике в стене висел даже нетленный младенец — из числа убитых. Путь его в Киево-Печерскую лавру был неизвестен.

Митрополит киевский севского епископа принял и угостил отменно. Прочие монастырей начальники прини-

мали иерарха с обыкновенной духовенству униженностью.

В один из дней пошел Кирилл посетить академические классы, в которых он когда-то учился.

Ученики риторских и богословских классов, одетые в смурые кафтаны и не носящие штанов, обступили Флиоринского, желая вступить с ним в спор богословский.

Один из риторов, подойдя к епископу, задал вопрос:

— Если бы турок и жид тонули вместе с христианином, то которого из них должно спасать скорее?

Архиерей ответил рассеянно:

— Того, который под руку попадетя.

Этот ответ произвел в толпе большое движение.

Архиерей между тем потребовал журнал академический того года, в котором обучался поэзии, и вызвал архимандрита Карпинского.

Затем, разогнув журнал, нашел архиерей в нем отметку, сделанную рукою учителя Карпинского.

Отметка эта не одобряла ученика Флиоринского и удерживала его в том же классе еще на один срок. Седобородый архимандрит стоял перед епископом красный.

Архиерей с запальчивостью бурсака произнес:

— Ложная ваша отметка весь академический журнал пакостит. Я ее не истребляю, пускай пакость эта свидетельствует о вашей слабости. Отметка эта тем вызвана, отче, что я двадцать пять лет тому назад, проходя мимо вас, не поклонился. Но, помня священное писание не воздавать ни злом за зло, ни досаждением за досаждение, удовольствуюсь только выговором и отпускаю от себя без всякого надрания.

Памятливость Кирилла Флиоринского действительно была изумительна.

Архиерейское служение совершалось им с обычным благолепием. В служении помогали ему многочисленные священники.

Пышность архиерейского облачения, свет двойных и тройных подсвечников, дикириями и трикириями называемых, увеличивал блеск богослужения.

Особые опахала изображали над головою епископа дуновение святого духа.

Тяжелые парчевые ризы окружали его сиянием, но яростный нрав не оставлял сердца разочарованного парижанина.

И он в алтаре одному трикириями бороду подожжет, иному клоч волос вырвет, иному кулаком даст в зубы, иного пхнет ногою в брюхо.

Все это он делал при чрезвычайном на всю церковь бранном крике.

Особенно он бушевал в ту пору, когда его облачали в священные одежды.

Можно сказать, что он тогда был похож на храброго воина, отбивающегося от окруживших его неприятелей.

Киевские священники, ему не подчиненные, избегали служения с Кириллом, боясь за личную свою сохранность.

И трудно было узнать в этом бушующем в алтаре яростном человеке того грустящего парижанина, который вспоминал о городе мира ночью в Броварах.

СТАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНТОРА

Доверенность, Гавриилу оказанная, приносила плоды. Ческой волос и кошельками на букли в цвет одежды привлек он к себе сердце бурного епископа.

В Севске учредил епископ контору, назвал ее «Ставленческой конторой», велел в ней присутствовать ризничему, и письмоводителем быть Добрынину.

Такса в конторе была такая.

За производство дела, за выучку катехизиса, за бумагу, за письмо и прочее семь рублей.

С дьякона пять рублей, а с посвящаемых в стихарь

три рубля пятьдесят копеек, с тем, чтобы через несколько месяцев собранную сумму делить на всех певчих.

Такса была написана собственноручно епископом и прибита в конторе на стене для исполнения собственноручно Гавриилом.

Это дело казалось епископу безгрешным, так как оно малой ценой освобождало просителей от тяжелых взяток. Но при всей безгрешности такса эта противоречила манифесту 1746 года, по которому было приказано во время объезда епархии архиереем на подводы и ни на что от духовенства денег не требовать. А за поставление с священника брать два рубля, а с дьякона один рубль.

Всех кандидатов на священство и диаконство обучал катехизису иеромонах Иринарх, который был человек с латынью.

Иринарх и брал с посвящаемых по архиерейской таксе.

Добрынину же поручено было свидетельствовать всех стихарных в чтении, писании, знании церковного устава и катехизиса и свидетельство это подписывать.

При свидетельствовании каждый должен был положить в кружку три рубля пятьдесят копеек, а в руку — сколько хотел.

И в руку всякий клал для скорости.

Поэтому Добрынин имел порядочное белье и платье.

Это родило во всем архиерейском штате, а особенно в консисторском секретаре, жестокое негодование и зависть.

В этом году благоугодно было преосвященному принять самому за обучение Добрынина, своего келейника, и еще двух певчих латинскому языку и арифметике.

Добрынин понимал, что архиерейское учение будет не легкое. Поэтому сыскал для арифметики в городе купца, который прежде был у винного откупщика бухгалтером, но за пьянство лишен сего достоинства.

Учителя этого Добрынин держал на своем вине и так узнал, как считать, слагать, вычислять, умножать и разделять.

Поэтому Добрынин всегда являлся к архиерею с исправным ответом на заданные уроки, а соученики его, вместо ответа, протягивали к архиучителю руки для битья по ним деревянной лопаткой, называемой «паля».

Когда дошли в учении до извлечения корня квадратного и кубического, то архиерей перешел к наглядному методу обучения и велел сделать деревянный куб порядочных размеров.

Эту геометрическую фигуру часто бросал архиерей в лоб непонятливого ученика, причем приказано было, чтобы все разом бросались за этой геометрической фигурой под стул, под канапе, под столики, если она туда закатится, и подавали ее архиучителю.

Поэтому извлечение корня кубического в архиерейских покоях было похоже на игру в мячик.

Еще не был извлечен окончательно кубический корень, как пал на землю снег. И архиерей поехал в город Рыльск, в Белополье и в прочие селения для осмотра благочиния.

Нужно было ехать в лучшие монастыри, попокоиться, попировать и получить подарки.

В Рыльске епископ говорил поучение к народу, наполненное гонением на староверов, и тут же при народе приказал одного из староверов, обер-офицера в отставке, Сисоя Воропанова, обстричь и бороду ему ножницами обрезать.

Волос воропановский, говорят, по отъезде архиерея опять отрос.

Купцы же, выслушав с христианским терпением речь архиерейскую, угостили его жирным обедом, пивом, медом, добрыми наливками и остались попрежнему при старой вере у своих промыслов.

Гавриил же речи архиепископа записывал и пожинал

плату от ставленников, потому что в разъезде епископ делал и производство.

Лошади везде ставились бесплатные, харчи не стоили ничего, и все поющие и предстоящие имели великие и богатые милости.

ИМЕНИНЫ

Января 18 был день именин его преосвященства.

От доходов своих сделал себе Гавриил Добрынин новую пару платья. Нарядясь в нее, пошел он поздравить поутру его преосвященство. Архиерей, увидя Гавриила в европейском платье, спросил:

— Давно ли ты сделал обновку?

— Ко дню тезоименитства вашего преосвященства, — ответил Добрынин.

Дав всем благословение и отпустивши всех, сел Флиоринский на канаве и сказал Гавриилу следующее:

— Послушай, Добрынин, ты знаешь, что у меня сегодня много прошено гостей к обеду; знаешь, сколь я люблю порядок, и знаешь, сколь я нетерпелив там, где я вижу беспорядок; посуди же и познай, могу ли я быть нынешний день спокоен? Ты знаешь, что у меня келейный Васильев, от которого должен зависеть весь порядок, любит хлебнуть через край; человека не имам! Иному бы моему брату, русскому архиерею, было сие нечувствительно, но я — француз! Я имел случай быть в Париже раз, но не буду и не желаю иметь случая выбить из себя порядка и чистоты парижской. При таких моих обстоятельствах нужна мне твоя служба, которую прими ты на нынешний только день вместо моего келейного. Я надеюсь, что ты и в сем случае не меньше мне угодишь, сколько я был тобою доныне доволен.

Добрынин отвечал, что, прося снисхождения к своей неопытности, он в то же время предложение архипастыр-

ское принимает и постарается не сделать проступков против правил парижских.

Архиерей, после сего взяв Добрынина за руку, привел в свой кабинет, поручил ему шкаф с серебром и комод с бельем.

Добрынин принял на себя полномочия диктаторские и потребовал из консистории двух канцеляристов, стряпчего, двух подканцеляристов и двух копиистов.

Стряпчему приказано было быть на кухне и каждое кушанье записывать, чтобы блюдо не заблудилось и не попало, вместо архиерейского стола, к какому-нибудь старцу в келью, чем раньше и самому Добрынину пользоваться приходилось.

Буфет Добрынин принял на себя. Остальная рать была приставлена к перемене тарелок.

За столом кушали персон до пятидесяти.

В продолжение стола был Добрынин по правую сторону кресел архиерейских.

Генеральша Племянникова молвила за столом:

— Я вижу нового дворецкого.

Архиерей отвечал:

— Да, может быть он заступит это место.

Его превосходительство, смотря на Добрынина как на мебель, промолвила:

— Благородное лицо.

Дамы, услыша о благородном лице, кинули на Добрынина свои благородные взгляды.

Тут не выдержал даже многоопытный Гавриил и ушел к своим бутылкам.

Нужно было поддерживать честь дома архиерея и, так сказать, имя церковное. Поэтому, отозвавши в буфет воеводского лакея, спросил Добрынин:

— Что хорошие господа пьют, когда встанут из-за стола?

Лакей отвечал:

— После обеда хорошие господа пьют кофей, но к ко-

фею нужно набрать гостиный десерт. Но где сыскать в архиерейском доме кофе?

Служители, собранные для открытия кофе, показали, что кофе есть. Но где оно хранится, знает один келейник Васильев.

Немедленно келейник Васильев был сыскан и приведен. Но оказалось, что он, встретя в буфете рюмки, поставленные на подносе, обратился к ним, как магнитная игла к северу, и затем бросился на них, как Дон-Кихот Ламанчский бросился на кукол, представляющих рыцарскую драму.

Многие рюмки были разбиты, остальные валялись на полу опустошенные и опрокинутые.

Попытки объясниться с Васильевым к успеху не привели.

Он произносил речи длинные, но не связные.

Сгоряча поразил его Добрынин в щеку дланью. На основании воинского права: «кто пьян, тот дважды виноват».

Повальным обыском кофе наконец был сыскан.

Светские господа, впрочем, уже разъехались по домам, а преосвященный в мужском обществе более заинтересовался горячим пуншем.

Уже были поданы свечи, и приятное расслабление овладело всеми гостями.

Его преосвященство вызвал Гавриила и сказал:

— Хочешь ли быть в консистории копиистом?

Но Гавриил с некоторых пор рассчитывал на большее, а на что?

БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИМЕНИН

Духовные гости: рыльский архимандрит Иакинф Карпинский, путивльский игумен Мануил Левицкий, брянский игумен Тихон Забела, чолпский игумен Антоний Балабуха и брянский протопоп Василий Константинов

с прочими несколько дней еще торжествовали день имени своего архипастыря.

Они настолько потеряли образ и подобие свое, что, воистину, стали лицами духовными. Некоторые из них заболели обыкновенными после таких трудов припадками и были развезены по домам.

Брянский игумен Тихон Забела храбро держался в рядах, Кириллом Флиоринским предводительствуемых. Водяная болезнь, к которой он был склонен, поэтому усилилась, и через четыре месяца получен был рапорт, что его преподобие отправился в царство бессмертных.

Протопоп Василий Константинов допился до белой горячки и в беспамятстве забежал в архиерейскую конюшню. Там уже на соломе отдыхал один из младших гостей, священник Соколов.

От ужаса Соколов протрезвел и начал читать над протопопом заклинательные молитвы, чтобы изгнать дьявола, который вгнездился в протопопа. Но протопоп тихо стонал и вскрикивал:

— Архипастырь божий, помилуй, я пить больше не хочу.

Благоговейный Соколов, умывшись, явился поэтому к архиерею и, став перед ним, сцепил руки, вздернул плечами и, закатив глаза под лоб, произнес:

— Владыко святой, погибает наш протопоп, вот до чего науки доводят человека. Отец протопоп брянский, не возмогший вместить во главу свою мудрые разговоры за столом, иступился из ума и нивесть что глаголет, являясь яко неистов.

Флиоринский сидел спокойно и допивал свой пунш без умоисступления. Он позвал Гавриила и сказал:

— Пойди с лекарем, посмотри на этого дурака.

Протопоп стоял в стойле перед конскими яслями.

Его длинные волосы были спутаны и висели на лице.

Его лицо опухло. Губы были темновишневого цвета.

— Ваше священство, — произнес лекарь, — покажите язык.

Темновишневые губы открылись, и протопоп проговорил быстро и жалобно:

— Нет, нет, господа келейники, не удастся вам меня запонить.

У архиерея была сестра, о которой будет еще много рассказано в этой правдивой истории. Жила она на братнем содержании. К ней-то и был доставлен больной.

Зубы протопоба, лежавшего на жестком диване, под красное дерево крашенном, были стиснуты, губы теперь обвисли.

Лекарь хотел влить ему в рот прохладительное лекарство.

Протопоп, не разжимая губ, стонал:

— Вино, вино, вино!

Лекарь, Павел Иванович Виц, в такого рода болезнях духовную имея практику, был опытен и отвечал:

— Это не вино, а лекарство, которое я даю вам по науке медицины теорической и практической, дабы не допустить вас до облирукции альви и внутренней гангрены.

Протопоп тихо плакал, всхлипывая.

Доктор ввел в его зубы нож и продолжал свою речь:

— Средство это употребляем мы упредительно кровопусканию и визикаториям; ибо теперь у вас засорившиеся нервы не имеют надлежащей циркуляции сангвинис, отчего и биение пульса у вас непорядочно.

Гавриил улыбался и думал о том, что он теперь, как Жилблаз де Сантиллана, стал помощником доктора.

— Юноша, — произнес доктор, разжав, наконец, рот протопоба. — Возьми у его священства язык рукой и вытащи его на сторону.

После того как это действие было произведено, в рот

протопопа влито было лекарство на такой манер, как делают это коновалы с лошадьми.

На другой день протопоп выздоровел, вернее, затих и уехал в свое жилище.

Покои архиерейские были убраны, вымыты, выскреблены. В комнатах покадили ладаном.

И воздух стал как обыкновенный.

На третье утро проснулся Васильев и, заметив опухшую щеку, по расспросам и догадкам восстановил память о полученной пощечине. Была принесена жалоба архипастырю.

Архипастырь, несмотря на свою к вину привычку, был после своих именин томен и раздражителен.

Он сильно ругал Гавриила на трех диалектах и в заключение своего гнева приказал, чтобы Гавриил заплатил келейному Васильеву за бесчестие рубль, на чем дело и кончилось.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРАСКОВЬИ ПЯТНИЦЫ

Иконы, на дереве написанные, в царствование Екатерины II, в противность мнению при царствовании Петра III, почитались достойными поклонения.

Но зато еретическими считались статуи, из дерева вырезанные, особенно если они были совсем круглые, а не барельефом.

Казались они похожими на идолов.

В марте месяце епископ двинулся через Кромы в Оел восстанавливать благочиние.

Кромы, город тихий, состоял он из однодворцев, то есть из свободных людей, при себе крепостных не имевших.

Эти однодворцы были потомками детей боярских, поселенных когда-то в Кромах в те время, когда город входил в оборонительную линию против татар.

По образу жизни однодворцы мало чем отличались от

крестьян. Жители города Кромы занимались главным образом хлебопашеством.

Как только вошел преосвященный в соборную церковь, то тотчас же глазам его представилась рослая, из дерева вырезанная статуя.

— Кто сие? — спросил архиепископ.

— Святая Пятница. — отвечал ему священник.

Архиепископ велел Пятницу обшить в рогожу и поставить ее под колокольню на замок.

Жители плакали о Пятнице горько и предсказывали епископу и свите его различные бедствия.

И действительно, при переезде из Коом в Орел умер дьяк Максимов, зашивавший святую Пятницу в рогожу.

Коомы, узнав об этом событии, радовались.

Колокольным звоном приветствовал Орел архипастыря.

У каждой церкви стояли священники в ризах, дьяконы в стихарях, с кадилами, дьячки и пономари со святой волей в чашках и со свечами. Народ стоял на улицах, народ висел на заборах, народ сидел на гонтовых, на соломенных крышах.

Народ кричал, колокола гудели. Добрынин думал:

«Если с каждого да по гривеннику, — хорошо быть архипастырем».

Богоявленская церковь, в которой было назначено архиепископское служение, народом была набита так плотно, как в Риге на кораблях укладывают мачты, в Англию отпоявляемые.

На завтра на квартиру епископа нанесено было хлеба, сахару, чаю, кофе, лимонов, рыбы и прочего.

Началась жизнь, ничем не омрачаемая.

Частые архиерейские священнослужения, частые посвящения ставленников, а следовательно, и высокие доходы всей свите.

Частые у граждан обеды и вечеринки, с хором певчих, до бела света.

Казалось, что архипастырь целый месяц опять справляет день своих именин.

Сверх того поступало к архипастырю содержание от приготовленной заблаговременно так называемой складки священно- и церковнослужителей.

Стоит город Орел на впадении реки Орлик в реку Ока.

В Оке вода низкая, и, когда идут товары со Свенской ярмарки, часто садятся баржи на мель.

Ока начинается от города верстах в семидесяти, и тут есть село, называемое Очки или Оки, откуда и название свое река Ока получает.

Выше города стоит Хвастливая мельница, графу Головкину принадлежащая, и когда нужно снять суда с мелей, то продают с этой мельницы воду по вершкам, так что служит она вместо шлюзов.

Так торговали в Орле даже водой.

А торговые люди к религии привержены.

Но архипастырь не умел пользоваться своим счастьем и начал обличать раскольников.

Раскольниками в то время назывались люди, придерживающиеся старых обрядов.

Были эти раскольники главным образом купеческого звания, и многие из них состоятельные.

Преосвященный произносил против раскола речи в соборе.

Речи его были яростные, называл он раскольников сукиными детьми, плевал на них в церкви и заговаривался до того, что в церкви начинал вспоминать про Париж и вообще ругаться.

Уведомлен был архиерей от Архангельской церкви священника, который добивался места протопопа, что купец Овчинников утверждает, что епископ заговаривается и мозги у него без задвижки. Причем оказалось, что Овчинников говорит это не аллегорически, а исторически.

Епископ потребовал, чтобы Овчинникова схватили как богохульника.

Но Овчинников вел большую торговлю скотом и не стал дожидаться, покамест его схватят, выехав куда-то по торговым делам.

Архиерей послал донос в синод, утверждая, что пострадали вера, закон, сан и должность. Но Овчинников с товарищами через свои купеческие конторы в Петербурге донос отвел, и архиерей ответа на жалобу свою не получил.

И более того, священник Архангельской церкви, несмотря на желание архиерея, не смог получить за доношение протопоповского звания.

Во всех этих делах Добрынин принимал участие только косвенное, так как дела эти были малодоходны.

Любил больше гулять Добрынин по широким, живописным улицам города Орла.

Куда ни шел Добрынин, за ним всегда следовала, как следуют собаки за телегой мясника, толпа просителей.

Толпа провожала Добрынина безотвязно, представляя ему свои просьбы. Благоразумные к просьбам присоединяли точную цифру воздаяния.

Безумные только плакали и говорили:

— Мы бедные, мы прожились, дома у нас остались старики и малые дети.

Благоразумных Добрынин выслушивал внимательно, чистосердечно, со священнической прямоотой, уверял в исполнении просьбы, ставил срок и слова своего не ломал.

Безумных Добрынин не доводил до отчаяния, а говорил им некоторые слова, из которых нельзя было понять ничего.

Постепенно время делало и безумных благоразумными.

Добрынин жил, как умел, и, как умел, работал.

Работы было много, писал он ночью и взял привычку.

написавши страницу, спать тут же, положивши голову на стол, в ожидании, пока высохнут чернила. При присыпании песком не нужно было ожидать, но буквы получались не такими блестящими.

Так всю ночь то писал, то засыпал на минуту Добрынин.

Так на севере на льдине спит тюлень, просыпаясь каждую минуту, дрожа перед призраком и шорохом белого не спящего медведя.

И раз сон схватил Добрынина за чесанные его волосы, и бедный тюлень переспал несколько минут.

Свеча плыла, упала, загорелись бумаги, обожгли пальцы.

Добрынин вскочил и начал руками тушить огонь с большей яростью, чем тушат пожар в городе пожарные.

Темно стало в комнате.

Добрынин высек огонь на трут, вздул пламя, зажег новую свечу.

— Горе, — сказал он, — на одном деле отгорели углы.

Добрынин начал обравнивать обгорелое место ножницами.

Тьма, усталость мучили его, круги шли в глазах, и вдруг он увидел, что ножницами обрезаю подпись архиеерея с пометкой.

В отчаянии сидел Добрынин.

Вспоминал все происшествя подобные в истории, вспомнил, что сам Бирон, герцог Курляндский, странное имел обыкновение жевать пергамент. Это было тогда, когда Бирон служил еще копиистом. И вот случилось раз тогда, что сжевал он и проглотил важный документ.

«Но не погиб же Бирон, — подумал Добрынин, — может быть и мне фортуна, как Жилблазу, приготовила какую-нибудь радость, может быть и я буду дворянином».

Итак, говоря сам с собой, тихонечко подклеил он вишневым клеем архиерейскую подпись к бумаге.

А что из этого последовало, вы узнаете в следующей главе этой высокоправдивой, хотя и не героической книги.

ГЛАВА, СОДЕРЖАЩАЯ ОПИСАНИЕ ХИТРОСТИ ДОБРЫНИНСКОЙ, А ТАКЖЕ НЕСЧАСТЬЯ, С НИМ СЛУЧИВШИЕСЯ, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ

Нужно было сбыть с рук резолюцию. Всего удобнее это сделать попозднее обыкновенного, когда заходящее солнце уже светит плохо через мутные стекла архиерейских покоев, а дорогие свечи еще не зажжены.

Добрынин расчесал свои волосы лучше обыкновенного, напудрился, надел башмаки с блестящими пряжками и пошел к архиерею.

Архиерея карета между тем катилась по улицам Ора.

Архиерей важно сидел рядом с обер-провиант-мейстером Астафьевым.

Восемь лошадей тянули карету, висющую на ремнях для мягкости.

Козы, оборванные гарнизонные солдаты мелькали за окнами кареты, и вдруг увидел архиерей стройную фигуру Добрынина.

Постучавши перстом в переднее стекло, архиерей остановил карету.

Он милостиво предложил Добрынину войти в карету.

Илья Пророк, вознесенный на небо на колеснице, вероятно, чувствовал себя не столь прославленным, как Гавриил, которого на виду у будочника и бабы, торгующей тыквенными семечками, взял архиерей в карету.

Карета затарахтела.

Архиерей, взглянув на обер-провиант-мейстера, промолвил, указывая на Добрынина:

— Этот у меня такой надежный.

Потом, взявши Добрынина за свободную от бумаг руку, сказал:

— Продолжай так, как ты начал.

Добрынин поднял очи к небу.

Небо в карете было покрыто стеганым шелком голубого цвета с букетами.

В архиерейских покоях Добрынин подавал бумаги, сопровождая их рассказами о городских новостях, свечи еще не были зажжены, и подклейка прошла незамеченной.

Так рос Добрынин.

Деньги уже стали привычными для его кармана, и Гавриил заказал себе шелковый двойной кошелек с кольцами, и через петли шелка не медь, а серебро видны были.

Но тут начались гонения.

По неизвестным причинам ненавидела Добрынина архиерейская сестра. Была она когда-то выдана за соборного ключаря, но ключарь ошибся в направлении, он не вносил сплетни в архиерейскую спальню, а выносил их оттуда.

Поэтому был он пощупан в той же спальне палками, а потом выслан в Киевский монастырь, где и скончался.

Осталась архиерейская сестра вдовою с двумя дочками. И находилась она с Добрыниным как бы в соперничестве.

Выехали из Орла с колокольным звоном, но уже не только на заборах, но и на улицах народа не было.

Потому что жители орловские его преосвященством, так сказать, обвелись.

Приехали в Севск, и здесь пошла о Добрынине молва, что будто вывез он из Орла до тысячи рублей, а это уже вытерпеть было невозможно.

Уже сам владыка начал поговаривать, что он до Добрынина доберется.

В торжественный день епископского служения шествовал Кирилл с горнего места к своей кафедре.

Горнее место — это особый как бы балкон с позолотою

и резьбой и с выпуклыми, но не круглыми ангелами, из дерева сделанными. Здесь и восседают смиренные епископы.

Посидевши на горнем месте, соизволил пойти епископ в алтарь. Нужно вам сказать, благоразумный читатель, что дьяконы в алтаре сидеть вовсе не могут, а женщина в алтаре, кстати сказать, как и собака, пребывать не может вовсе.

Кошка же может.

Священник же в алтаре может сидеть.

Епископ в алтаре имеет кресло, называемое кафедрой.

На кресло сел епископ, и должен он был выслушать читаемые Добрыниным вместо него благодарственные молитвы за приобщение святых тайн, и только начал читать Добрынин бархатным своим голосом, уже не дишкланистым, но альтовым, как вдруг почувствовал он, что в волосы его впиваются две руки.

Флиоринский был человек сильный, и руки его не были похожи на пуховые.

Он таскал Гавриила за волосы в алтаре так, как кречет таскает курицу.

Пыль стояла в алтаре.

Первый удар ногами в Добрынина пришелся по престолу.

Престол загудел.

Потом попало архимандриту Карпинскому, тот благоразумно вскочил на подоконник.

Причетники рассеялись по разным местам алтаря, ожидая с благоговением и страхом окончания святительского рукоприкладства.

Самсон не связывал лисьи хвосты с такой яростью, сам святой дух не ломал праотцу Якову лядвий, то есть бедер, так безжалостно, как таскал епископ Добрынина по алтарю.

Между тем в церкви продолжалось пение концерта. И в такт бил епископ Гавриила и в голову и в шею.

Наконец, гнев утолился, иерарх задыхался:

— Какая вина моя, о преосвященный? — жалобно произнес Добрынин.

Оказалось, что перед кафедрой не было положено орлеца, а орлец — это маленький круглый коврик в диаметре вершков двенадцать, и на нем вышито изображение орла.

Упущение это архиерей заметил не сам, указано ему было на это добродетельным архимандритом.

Орлец был подан, архиерей сел.

Добрынин сгоряча начал драть благодарственные по причащении молитвы.

Филоринский сидел, кушал просфору, запивал кагорским вином, а Добрынин скороговоркой читал:

«Да будет благодарение его преосвященства в радость, здравие и веселие, да будет в страшное и второе пришествие сподоблен он стати одесную».

Придя в свою горницу, пустился Добрынин в глубокое малодушие. Болело тело, болела душа. Общество Добрынина состояло из нескольких причетников и нескольких певчих, и был опозорен он перед всем обществом.

Ночью Добрынин не спал.

Казалось ему, что наяву пришел в келью бакалавр Самаланский, в шляпе с перьями, в шелковом костюме, а потом приехал в карете, запряженной осетрами, епископ и тут же в горнице начал совершать архиерейское богослужение, и палит он ему лицо. И сам Гавриил уже не Добрынин, а доң Херубин де ля Ронда, только звание это он где-то укрыв и подклеил. А епископ приехал на осетрах и бороды рвет, и свечами лицо подпаливает, и ногами дерется, и про Париж рассказывает. А лицо у епископа!.. Почему у епископа Флиоринского лицо знакомое, а может быть он и не епископ, а де ля Ронда? А это, кажется, не де ля Ронда, а лекарь Винц?

Тут жар поднялся, и наступила тьма, и этим я кончаю главу.

ГЛАВА, СОДЕРЖАЩАЯ ПОЛУРАСКРЫТИЕ ТАЙНЫ

Утром архиерей посетил больного сам.

Мрачно попробовал Кирилл пульс, посмотрел язык. Раскрасневшийся и разметающийся Добрынин лежал, никого не узнавая.

Архиерей вышел, закрыл дверь, постоял.

Келейник стоял перед ним безмолвно.

— Пойди, — сказал Кирилл глухо, — пойди скажи ему, — продолжал он гоомко, — что я на него зла не имею.

Добрынин лежал без памяти. Жар струился вокруг него водой. Вдруг он услышал голос.

Это келейник кричал ему на ухо:

— Его преосвященство зла на вас не имеет.

— Не имеет? — спросил Добрынин. — Хорошо, я встану! В конторе ставленники есть?

С раскрасневшимся лицом встал Добрынин, пошел в контору, начал писать, потом пронял его жестокий озноб, и упал он лицом на бумагу, и на щеке его отпечатались имена людей, в священство принятых.

Певчий Козьма Вышеславцев, игрок на гусях, человек веселый и запойный, но добрый, поднял Добрынина на руки и отнес его в постель ризничего Гедсона, далеко Добрынина было нести уже нельзя. Он лежал и бредил золочеными парижскими колоколами и архиерейскими палками.

А это кто, а это будто мать, а ведь была у Добрынина мать.

Вот он забыл ее, она пришла, вот она монахиня, как будто, верно.

«Ты монахиня, мама, ты почему плачешь? Монахиней тоже можно было быть».

«А почему ты плачешь, а почему его преосвященство рядом?»

«Ваше преосвященство, почему вы плачете?»

«Ваше преосвященство, помните вы?»

— Авессалом, сын мой — произнес его преосвященство.

— Да, помню, ваше преосвященство, читал, — бунтовал Авессалом против отца своего Давида, и были у Авессалома длинные волосы и сказал Авессалом. И мул ушел из-под царевича, и висел Авессалом на волосах. Погиб Авессалом и плакал Давид: «О, Авессалом, сын мой».

А это Винц говорит:

— Ему нужно сделать пургаториум для очищения внутренности. Вы не огорчайтесь, ваше преосвященство. Юноша болен не от того, что вы потаскали его за волосы. Это вредная горячка с пятнами, тифус.

Ушел Винц.

«Мама, почему ты плачешь на плече его преосвященства? Ты в чем его упрекаешь, я ведь не его сын, а сын священника Родогожского. Вообще непонятно. Киев, криво надетая шапка лавры на горе, Днепр подымается голубой и горячий».

Утро лежало на штофном его преосвященства одеяле светлыми зайчиками.

Добрынин проснулся, удивился.

На нем лежало одеяло его преосвященства — большая милость.

Хотелось есть.

Перед ним сидел Козьма Вышеславцев, спросил.

— Вылез, парень?

Винц, обыкновенный Винц, вошел в комнату и сказал:

— Жар миновался, я велю сделать для вас ячменную кашу с курицей.

Потом пришел ласковый восьмидесятилетний старик, называемый Палей.

Погладил Добрынину руки, сказал:

— Грехи, сын мой. Архиерей много про тебя спрашивал, к тебе ходил и на сестру свою сердит.

— А мать где? — спросил Гавриил.

Палей смутился немного и сказал:

— Да, была здесь мать твоя, только она сейчас ушла в монастырь обратно. Ну, ты поправляйся.

С трудом поправлялся Гавриил, слабость не давала встать ему на ноги.

Спросил про архиерея.

Архиерей, оказывается, уехал на похороны черниговского преосвященного Кирилла Ляшевецкого.

Тот обгорел, читая в кровати.

Сальная свеча упала, оплывши, и зажгла ватный халат.

Архиерей как будто придрался к случаю, чтобы уехать, вернулся, как ни в чем не бывало, но Гавриил начал с тех пор называть его наедине дядей.

НОВОЕ ДОСТОИНСТВО

В августе раз вошел Гавриил Добрынин к архиерею. Он подозвал юношу к канапе, на котором лежал, и произнес.

Произнес он по своему обыкновению для начала текст из святого писания.

— Слыши! приклони ухо твое, забуди люди твоя и дом отца твоего, и возжелает царь доброты твоея.

Произнеся эти слова пророка и царя Давида, архиерей продолжал уже, так сказать, прозой:

— От давнего времени намерение мое было сделать тебя к себе поближе. Прилежность, исправность твоя во всех должностях давно побуждают меня отличить тебя от всех домашних.

Добрынин обрадовался, архиерей же продолжал томным голосом:

— С сегодняшнего дня должен ты быть при мне келейным на месте отринутого за пьянство Васильева.

Этого Добрынин не ожидал. И стал, как соляной столб. Нужно вам сказать, что стоит такой столб, или говорят, что он стоит, в Палестине, на берегу Мертвого моря.

Говорят, что это наказанная Лотова жена оглянулась назад, чтобы видеть гибель Содомы и Гоморры.

Так и стоял соляным столбом, глядя на своего епископа, Добрынин.

Знал он, что за три года девять келейных бежало от святительских рук, и поэтому начал оправдываться и отказываться бессвязно.

Но архиерей произнес голосом ласковым:

— Не тревожит ли тебя то, что от меня те девять отошли нечестным образом? Инако и быть не могло, ибо ни один из них не имел ни ума, ни верности, ни порядочного поведения. А человек, не имеющий совокупно сих трех качеств, ни в какую благородную должность не годится.

И дальше, вздохнув и без обычного яда, мирно продолжал архиерей:

— Мое намерение выше и благороднее, чем ты думаешь можешь. Мое намерение, чтобы различествовать мне с тобою только именем и должностью, но душу иметь с тобою одну.

Эти слова тронули Добрынина темным обещанием, в них заключенным. И он бросился в глубоком молчании в ноги преосвященного.

Это вообще в оградах монастыря главная норма поведения.

Подняв нового келейника, преосвященный показал ему гардероб, буфет и снова показал серебро.

Душа у преосвященного была тревожная.

Узок монастырь, высока монастырская стена и бегал в ней Флиоринский, как белка в проволочном колесе. Только не по прутикам, а по людям.

Любил Кирилл Флиоринский черную работу, кирпич и известь обжигать и дрова пилить, и поэтому имел обыкновение, вставая очень рано, забирать на эту работу весь свой келейный штат — дежурного, певчего, двух истопников, сторожей, дровосеков.

Дома оставался один Добрынин.

И вот приходилось ему сперва чистить столовые ножи, подсвечники, тазы, потом браться за щетку, потом браться за метлу, в любом порядке, для разнообразия.

Так работал он, напевая себе песенку о том, что теперь у него с архиереем одна душа.

Не этого ждал Добрынин, оставя должность человека при пере. Но будущее готовилось для него еще худшее.

Казалось, что архиерей его держит при себе и в то же время ненавидит, как человека, знающего некоторую тайну.

Однажды в глубоком унынии сидел Гавриил на полу, считая грязное архиерейское белье, и вдруг к нему вбегает сам разъяренный святитель и оглушает вопросом:

— Был ли ты сегодня в церкви?

— Был, — быстро ответил Добрынин.

— А какое сегодня читали евангелие?

Добрынин стал в пень. Епископ же, вцепившись в его авессаломовские волосы, произнес:

— В церкви читано евангелие: «идеже есмь аз, ту и слуга мой быдет». А тебя целый день нет при мне, да еще в нужную пору, когда я сам из новоотстроенной церкви щепу таскаю.

Побежал Добрынин в церковь и очищал с работниками щепу и всякий сор, а вечером его ругали за упущение по дому, а ночью считал грязное архиерейское белье.

На утро было приказано дать чай, но архиерей чая не пил, а убежал планировать землю под новую колокольню.

И чай нужно было подать туда, а там архиерей приказал Добрынину таскать на носилках землю. И горько

еще упрекал при этом, почему у Гавриила вылезли волосы.

— Волосы, — он говорил, — были у тебя, как у Авесалома. Почему нет у тебя твоих волос?

— От горячки и трудов, — отвечал Добрынин.

НОВОЛУНЬЕ

Слухи шли об епископе, что он в уме не совсем в своем, что он, когда восходит луна, ходит с закрытыми глазами по монастырю, в состоянии сомнамбулическом.

Приближалось новолунье, и все раздражительней становился епископ, и уж ни о чем не мог думать Добрынин.

Раз ночью услышал он из темного буфета сквозь стеклянные незакрытые двери, что кто-то говорит в гостиную.

Добрынин встал.

Луна светила на пол гостиной, архиерей ходил в темноте, тело его было освещено только в нижней половине.

Архиерей говорил то важно, то скоро, то взвизгивал.

— Я принц-архиерей, я не такой лапотник, как другие русские архиереи. Придите слушать, что говорит севский архиерей.

«Потемкин, разве он не был учеником дьячка? Разве он не собирался поступать в монахи, разве я его не превосходил в диспутах риторических?»

«А куда теперь забрался одноглазый?»

«А мне орлец под ноги. А я разве сам птица?»

И забормотал архиерей про медведей, лосей, слонов, коров и тосковал и говорил про зверей поющих, вопиющих, вызывающих и глаголющих.

И потом засмеялся тихонечко.

— Да, ты погиб, мой товарищ черниговский. На четыре застешки был застегнут шлафрок твой и — горел, тебе его не сорвать. И мне никогда не сорвать моей рясы.

Светила луна.

Добрынину стало сперва скорбно, потом скучно. Он отступил, закрыл стеклянную дверь и снова лег в буфетную, подложив себе под голову вместо подушки грязное архиерейское белье.

А архиерей там, в гостинной, продолжал бормотать.

Добрынину хотелось одного — спать.

Спать часов двенадцать под ряд.

Утром преосвященный позвал его совсем рано.

В темноте подошел келейник для принятия приказа.

Архиерей, не открывая глаз, сказал:

— Хочешь ли ты жениться?

— Нет, — отвечал Гаврил.

— Захочешь! — сказал архиерей. — У меня есть невеста, живет она у сестры, она мне доводится как своя, женись.

— Не хочу, — отвечивал Гавриил.

— Да для чего ж?

— Мне еще рано жениться.

— Ну, пойди, — заключил архиерей эту темную аудиенцию.

Добрынин знал эту толстую девку, которая приходилась архиерею как своя.

Было ей лет двадцать пять, и жила она при архиерейской сестре.

Дело было невыгодное.

Добрынин думал, что и он сам архиерею вроде как бы свой, и архиерей хочет спустить с рук сразу двоих свойственников.

Днем Кирилл был гневен. За обедом бросил в Добрынина яблоко с такой силой, что кресла откатились на аршин назад.

Вечером архиерей сидел в спальне на постели и стриг маленькую собачку, ласково говоря с ней по-французски.

Добрын вошел.

Архиерей поднял на него свои глаза и сказал;

— Я сказал ей только, что милые твои бархатные лапки.

Добрынин сделал монастырский артикул в ноги и про-изнес:

— Нижайше прошу ваше преосвященство уволить меня от теперешней должности к прежней.

Архиерей бросил ножницы на одеяло, вздернул нос.

Недостриженная собачка, таякая, соскочила на пол.

— Маловер, — произнес архиерей, — почто усумнился еси?

Потом, помолчав еще несколько секунд, архиерей вско-чил из-под одеяла, не одетый, и побежал в кладовую.

Добрынин молчал в недоумении.

Из темной кладовой вдруг вылетел рыжий лисий мех, потом другой, третий и так всего до восемнадцати.

За лисами вышел сам архиерей.

— Вот возьми, — сказал он, — сделай себе шубу, сукна на покрывку можешь сам купить.

И, помолчав, прибавил:

— Деньги имеешь.

Итак, соорудилась эта шуба, которая была как бы мирным трактатом, а о сватовстве замолкла на некото-рое время всякая речь.

ЗАГОВОРЫ И СОБЕСЕДОВАНИЯ, ДОНОСЫ И ПРОЧЕЕ МОНАСТЫРСКОЕ

Часто бывали у архиерея в покоях консисторский член Иринарх Рудановский и учитель латинского языка Садорский. Вместе с Добрыниным представляли они со-бою одну компанию.

Садорский называл Рудановского отцом, а Добры-нина братом и другом.

Таким образом получалось как бы святое семейство.

Сидорский был человек опытный и небрежно льстивый.

Нужно сказать, что по обычаю епископ не имеет права подавать прошения о переводе в другое епископство.

Перевести может святейший синод, так сказать, по собственной воле.

Поэтому епископы хлопочут путями окольными.

Все люди севские ждали, когда же, наконец, уедет епископ Флиоринский.

И вот показал Добрынин Рудановскому письмо, выкраденное от преосвященного.

Письмо было ответное от синодского обер-секретаря Остолопова. Очевидно, епископ просил о переводе, потому что Остолопов подписал следующее:

«Я хотя истинный вашему преосвященству друг, но мое дело по синоду сейчас такое, что услужить вам в рассуждении перемещения не в праве, да и впредь уверять не осмеливаюсь».

Прочтя сие выкраденное письмо, Рудановский послал в синод прошение о переводе его на житье в какой-нибудь малороссийский монастырь.

У Рудановского был брат в синоде, и перевод последовал.

Теперь остался Садорский с Добрыниным.

Добрынин думал, что они будут играть дуэт, но Садорский решил сыграть соло.

Однажды пришел из роши архиерей мрачный.

Соглядатаи донесли Добрынину, что Садорский имел с епископом свидание наедине.

Архиерей сел в кресло, потер руками бороду, лоб и спросил с досадой и смятением:

— Какие у вас с Иринархом происходили обо мне разговоры?

— Обыкновенные, — отвечал Добрынин.

— А письмо, — возгласил архиерей, — какое письмо ты показывал Иринарху?

Нападение было сделано не врасплох.

Добрынин был воспитан в монастыре и привык дер-

жать тайную дружбу даже с крысой, если она имела вход в какому-нибудь схимнику и могла о нем что-либо донести.

Поэтому он отвечал с твердостью и сладостью:

— Письмо я показать не усумнился потому, что в нем не было никакого секрета, и мы читали его с сожалением, что другие недостойные архиереи перемещаются, а ваше преосвященство, столь образованием прославленное, не вознаграждается достаточно.

— Нет, неблагодарный, — сказал архиерей, — не тебе меня обманывать. — Признавайся во всем, это смягчит твою участь.

Нужно было признаваться, по крайней мере за Садорского, таково монастырское правило, а кроме того нужно было, так сказать, перейти в наступление.

Добрынин произнес:

— Я все, что могу припомнить, донесу чистосердечно. Прошу только терпения меня выслушать.

— Ври все! — крикнул лихой владыка.

— Когда в разговорах наших, — продолжал Добрынин, доходило до вашего преосвященства, то я и Садорский оба согласны были в том, что вы обидно поступаете с людьми, к вам приверженными. Ругаете вы повсеместно и рукам волю даете даже и при людях, отчего натурально подчиненный теряет к вам преданность. Потому мы сердечно желали, чтобы ваше преосвященство получило большей степени епархию для того, чтобы сердце ваше, так сказать, смягчилось, а нам остаться покойными.

— Ба, — крикнул архиерей, — а кто научил тебя этакому красноречию? А терпение где? — еще сильнее он гаркнул.

Тогда по монастырскому обыкновению бросился Добрынин архиерею в ноги и произнес:

— Что я все истину сказал, подтвердит и Садорский.

— А он почему знает? — лукаво спросил архиерей, покрасневшись,

— А он, — отвечал Добрынин, — письмо ваше меня достать подучил и сведения о вас под рукою собирал, он же и смутил душу вашего преосвященства в отношении меня.

— Нет, — отвечал архиерей, — он человек благородный, и я тебя истреблю прежде него.

Преосвященный заставил подписать Добрынина лист бумаги, в котором было засвидетельствовано, что Добрынин неосновательно порицал его преосвященство человеком злобным, обидчиком и лихоимцем, но что совесть заставила его раскаяться и что он уже никогда вышеописанными именами его преосвященства называть не станет ни на словах, ни в письме, ни какими другими способами.

Челобитную эту Добрынин прочел, и сам к ней приписал:

«Сие прошение скрепил словесная овца и бессловесный раб Гавриил, сын Иванов Добрынин».

Но дело этим не кончилось.

Преосвященный под видом посещения киевского митрополита посетил Иринарха Рудановского, которого Добрынин успел обо всем известить.

Иринарх с Добрыниным в речах не разбился. И архиерей утвердился в мысли, что главный враг его Салорский.

Поскучнел Киев — во время этого посещения.

Смотрел Добрынин знаменитую лавру, зашел и в бурсу.

Есть многие сельские и иногородние отцы, которые желают видеть сыновей своих учеными, но по бедности не в силах их содержать.

Помощью вкладов щедрых обывателей и помощью монастырей при каждой семинарии устроены просторные избы с печью или с двумя. Эти избы снабжаются от монастыря отоплением и больше ничем.

Избы эти мазаночные, то есть состоят из плетня, обма-

занного изнутри и снаружи желтой глиной, и небеленые.

Крыша на них соломенная. Окна круглые.

Здесь живет бурса подаянием и грабежом.

Добрынин, осмотревши это учреждение, решил, что, в сущности говоря, даже жизнь у архиерея уютнее.

Но и эту жизнь бурсаков считали вредной в плане государственном.

Бурса украинская отличалась от бурсы великорусской.

Великорусская бурса состояла из сыновей священников и была, так сказать, лишена всякого значения политического. Бурса же украинская, киевская, состояла из людей разного происхождения. Здесь обучалось и спланивалось украинское шляхетство, и отсюда люди выходили не только в монастыри.

Поэтому было обращено на бурсу киевскую внимание. И новый киевский митрополит Гавриил Кременецкий занимался руссификацией.

Была через два года разрушена деревянная вольная бурса, и построена каменная одноэтажная.

Но в нее принимали уже только сыновей священников.

Говорил митрополит, что необходимо порвать связь историческую духовенства с малороссийским обществом и заключить его в рамки духовного сословия.

Кроме того считал Гавриил, что синкретизм или допущение разных вер в самодержавном государстве за вред оному умными людьми почитается.

Был Гавриил Кременецкий человеком трусливым. Так он в С.-Петербурге полтора года, будучи уже в Киев назначен, дожидаясь окончательного пресечения морской язвы.

Был Гавриил гостеприимен, потому что существовала старая украинская тенденция, Гавриилом не оспариваемая, чтобы и на именины митрополита и на рождество

божье, подносили Гавриилу шелк и сахар, и белый хлеб, и лимоны, и сахарные головы.

И только в новый год можно было притти к Гавриилу без приноса.

Так на это-то место и метил епископ севский, но место это было занято плотно.

Удалось только Флиоринскому пообедать за столом Гавриила.

Держал себя Гавриил за обедом просто и как будто даже хвастался своим простецким происхождением.

Любил подчеркивать свое украинское происхождение.

Был сам Гавриил сыном войта, метечка Носовки, киевского полка. Это должно было, по мнению правительства, смягчить горечь украинцев.

«Бархатные твои лапы», как говорил Флиоринский своей кусливой собачке.

Ел Гавриил за столом вяленую рыбу тарань и приготавливал:

— Мать меня с малолетства этою рыбою закармила.

А потом в разговоре же отодвинул от себя епископ киевский тарелку, с оборванными рыбьими хвостами и головами, и сказал:

— Жил я долго в Питере и привык к тамошним обрядам и обыкновениям. А теперь не знаю, мне ли следовать малороссийским обыкновениям или малороссияне должны принаравливаться к моим питерским ухваткам?

Весь сидящий за столом свято-киевско-митрополичий штат, приподнявшись благочестно и благоговейно, отвечивал в один голос, что весь Киев должен себе за образец взять его святейшество.

После молчания непродолжительного пришлось приподняться и нашему принцу-архиерею.

Видя, что действие уже сыграно и что здесь работают политически и вяленая рыба и питерские ухватки, произнес Кирилл Флиоринский;

— Ваше преосвященство заслужили то у отечества, чтобы себя никоим образом не переделывать.

На этом действие и закончилось.

Невеселым вернулся Кирилл в маленький Севск.

Здесь опять приступлено было к дознанию. Выяснилось, что сам Садорский держал над епископом шпионаж через певчих, которые дежурили у архиерея.

Певчие же обучались у Садорского латинскому языку и, так сказать, находились у него в палочной зависимости.

Садорский был приглашен к столу.

За столом епископ говорил о разных делах яростно, просверливая землю и все встречающееся на ней, но не объясняя, на что его ярость направляется.

В разговоре схватил архиерей графин с водой и ударил его об пол. Брызги воды встали в комнате туманом.

Садорский вздрогнул на своем стуле.

— А, ты дрожишь, — вскричал архиерей, — следовательно, совесть твоя нечиста. Ты, бродяга, вон из зала, слуги гоните его метлами!

Садорский был изгнан, но на другой день извещено было, что при отъезде исхитил Садорский со стены собственноручное епископа расписание с каталогом цен на поставление.

Сделал это по наущению Садорского дьячок Захарка. Сгоряча приказал епископ Захарку заковать в цепи и отдать в солдаты.

Было сделано слишком поспешно.

И в пост Филиппов пришел от сената и синода приказ — дьячка с воинской службы вернуть, а синоду дать объяснение — по первому пункту, зачем вывесил епископ собственноручные предписания, противоречащие указу о небрании денег за поставление, и по пункту второму — зачем брал епископ вообще взятки?

Оказалось, что Садорский снюхался с орловскими купцами-староверами, которым архиерейский крик надоел.

Уныние и печаль отразились на лице епископа, вызвал он к себе главнейших ябедников, одного Белогородской губернии, другого — Орловской.

Ябедники с ним посовещались и решили, что дело плохо, потому что противник и хитер и богат, а кроме того можно было брать вдвое, но не нужно было вешать на стену собственноручное предписание.

СВЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, НАЗЫВАЕМЫЙ ТАКЖЕ СВИНСКИМ, И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Свенский монастырь, он же Успенский и он же Новопечерский, подведомствен Киево-Печерской лавре. Находится он в двух верстах от Брянска.

В народе этот монастырь без всякой злобы прозвали Свинский монастырь, хотя и стоит он на реке, именуемой Свень.

Свинский монастырь славился огромными своими ярмарками, которые происходили на монастырской земле и приносили ему прибыль значительную.

Монастырь огромный, весь каменный, колокольня и собор построены по плану графа Растрелли в 1758 году.

Игуменом этого монастыря был человек, соединяющий в себе достоинства духовные и светские. Звали его отец Палладий, волосы у него были черные, глаза лакированные, голос чистый.

И шутить он умел равно и с дворянами и с дворянками.

Особенно хорошо проводил время игумен во время сентября, когда четыре недели шумела у монастырских стен многолюдная ярмарка.

Шумел здесь, уже за стенами, и Кирилл Флиоринский.

Отсюда выезжал он в другие монастыри к знатнейшему купечеству на обеды, отсюда же выехал он в поместье господина Фаддея Тютчева.

Деревянный дом Тютчева был украшен не скупой рукой.

Обои штофные, картины, комоды и шкафы, столики и бюро красного дерева.

Слуги в ливреях и зовух их «ляке». Камердинер в шелку.

За стол садятся пятьдесят персон обоего пола, и на первом месте хозяин, но в халате и колпаке.

Праведное небо, тебе единому известно, сколько здесь было пролито или, лучше сказать, вылито английского пива, вина и пунша.

Страшное это винопролитие началось при самом приезде вечером и продолжалось в саду.

Погода была наипрекраснейшая, хотя золотой сентябрь уже снял с большинства деревьев прекрасные их одежды и устлал ими землю.

Первым был сражен хозяин, его понесли из сада в спальню лишенного зрения, слуха, обоняния и осязания.

Иерарх остался на посту, и он кричал на хозяйских слуг:

— Ваш барин сделал смертный грех, преждевременно обнажив фронт в противность всем регламентам, и будет он за это предан духовному суду.

Игумен Палладий и протопоп брянский, стараясь потушить беду, крикнули слугам, чтобы катили из погреба новые бочки вина.

В саду были зажжены две тысячи плошек, небо стало розоватым.

В десять часов утра преосвященный изволил лечь спать, а хозяин соизволил проснуться.

Время текло, сентябрь кончался, разъезжалась ярмарка, разъезжались опустелые ярмарочные возы, улетели на юг последние птицы, перепела, объевшиеся на жниве, бегом и подлетом уходили на юг.

В Севск уезжали тяжело груженные архиерейские повозки.

Провожали долго, несколько раз запрягали и отпрягали лошадей.

Выехали ночью.

Звонили колокола, и все вместе больше походило на ночную тревогу, чем на церемонию.

Провожал архиерейский обоз господин майор Бахтин.

Сзади ехал на лошади господина майора Добрынина в качестве предводителя и архиерейских и бахтинских певчих.

Архиерейские певчие были одеты в польские кафтаны с длинными рукавами, которые закидывались за спину. В прорезах рукавов проходили руки, одетые в шелковые подрясники другого цвета.

Бахтинские певчие были одеты под драгунов.

Все вместе пели веселые песни.

Сударушка
Варварушка,
Не гневайся на меня,
Что я не был у тебя...

А на передней повозке подпевал епископ, и сладким голосом выводил рулады отец Палладий, поблескивая во тьме лакированными своими глазами.

Господин Бахтин, высовываясь из коляски, кричал:

— Твоя лошадь, твое седло, твои пистолеты.

Принимать подарки для Добрынина было дело не новое.

И он салютовал Бахтину шляпой в такт песни.

На ночевке отец Палладий представлял печерских соборных старцев, сельских попов, извозчиков, бурсаков в смешном и непринужденном виде.

Таков был месяц сентябрь.

Такова была архиерейская жатва.

С горем должен, однако, заметить, что зимою Бахтин за подарки потребовал деньги и получил их в незначительном, правда, количестве.

ОБОДРАННЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ И ГОСПОДИН КАСАГОВ

Нет, не настоящий дворянин был господин Бахтин. Скорее можно сказать, что происходил из смоленской шляхты.

Зато из настоящего дворянства был Елисей Хитров, карачевский воевода.

Принимал он гостей в бывшем Тихоновом монастыре.

Впрочем, воевода был уже отставной.

Пили и архиерей, под судом состоящий, и воевода, судом с места снятый, и благополучный игумен Палладий — вместе.

Палладий налил вино в дорогой хрустальный бокал и как бы задумался о том, может ли он, Палладий, это вино вместить.

На что Хитров заметил:

— Что, отец Палладий, если бы к этому винцу да прежние монастырские деревеньки.

— Да, — отвечал отец Палладий, — если бы к этому винцу да прежняя карачаевская воеводская канцелярия.

И тут захохотел весь гражданский и священный чин.

Опять выехали ночью при факелах и трезвоне.

Ночевали в Николаевском Одринском монастыре.

Здесь, осматривая церковь, нашел епископ резной образ святого Николая, Мирликийского чудотворца.

Образ был не красками писанный, а резной, но не круглый, а выпуклый, так что он и подходил и не подходил под запрещение.

Длина образа была поларшина.

Образ был весь мастерски осыпан жемчугом различной величины. Жемчугом были вышиты риза, подризник, епитрахиль, амофор, митра.

В приличнейших же местах в жемчуг были вставлены бриллианты. Епископ, посмотревши на этот образ, позвал Добрынина к себе.

— Великая вещь образованность, — сказал епископ. —

Например, смотрю я на эту статую и вспоминаю древность греческую. Дионисий, если мне не изменяет память, но учить меня здесь некому, велел снять со статуи Эскулапа золотую мантию, говоря, что «эта мантия летом горяча, зимой холодна и с удобством может быть заменена шерстяной». И мы облупим сего чудогворца, как яичко.

Велено было чудотворца обчистить, обнаженную деревянную резьбу поставить в церковную ризницу для хранения, а из жемчуга и бриллиантов епископ сделал себе архиерейскую шапку, крест и панагию.

В веселую кампанию епископа присоединился помещик, артиллерии капитан Иван Соколов, с отцом своим, священником, тем самым, который читал над брянским опившимся протопопом в конском стойле заклинательную от дьявола молитву.

К этому Соколову был приглашен епископ по делу приватному.

Капитан Соколов женат на дворянке, урожденной Касаговой, а Касагов, Андрей Иванович, гвардии капитан, вел жизнь буйную и завел у себя гарем, наподобие гарема премудрого иудейского царя Соломона.

И пил Андрей Иванович Касагов наподобие русского князя Владимира.

А посему нельзя ли у этого Андрея Ивановича, как у человека неблагонадежного в отношении нравственном, имение отобрать, хотя бы в опеку родственнице его, капитанше Соколовой.

Архиерей ответил милостиво:

— Гряди обрести заблудшую овцу, а там посмотрим.

Сели за стол, запели столпскую греческого распева херувимского. Пели бурсацкие песни, пили, и вдруг прибежал Соколова слуга и доложил:

— Касагов приехал!

Архиерей приказал тотчас всем заступить свои месги, оставил пение, пошел в спальню, расчесался, опры-

скался духами и выполоскал рот, потому что заблудшая овца сама могла иметь на вино обоняние.

К Касагову был выслан Палладий.

Игумен поговорил о законах насчет явных прелюбодеев и привел гвардии капитана в некоторое смущение.

Тогда, поддерживаемый под руки певчими, вышел к заблудшей овце сам архиерей.

Касагов оказался человек тихословный, роста среднего, сложения слабого.

В нем видны были следы воспитания.

Говорил он с трудом, как бы вспоминая слова.

Почтительно пригласил он к себе преосвященство, на что архиерей изъявил согласие, зная, что посещения таковые обременяют епископский кошелек, и не медью.

Утром поехали в село Касагова.

Церковь каменная, но в запущении и нечистоте.

Обеденный стол достаточен, но беспорядочен.

За столом Касагову подали двух жареных воробьев. Он изволил от одного откусать, запил вином и внезапно оказался пьяным.

Преосвященный пил мало и вел беседу, приличную доброму пастырю. Говорил преосвященный хорошо, даже с латынью, и за столом сидящие, запивая речь преосвященного хозяйским вином, почти прослезились.

Один Касагов не был ни тронут, ни напуган, ни весел, ни печален.

Кирилл был недоволен и приказал закладывать лошадей к отъезду.

Ему было скучно с этим невеселым пьяницей.

Касагов тут оживился, бросился к одному, к другому. Просил остаться.

Преосвященный упрямылся. Тогда гвардеец пал на колени и заговорил:

— Ежели ваше преосвященство у меня не заночуете, то я застрелюсь.

— Не надо, — ответил преосвященный и решил оставаться.

Отужинав, архиерей лег спать. Хозяин, оживившись, тоже ушел куда-то.

Добрынин пошел в комнату Палладия.

Тут сидели Соколов с женою.

— Легок на помине, — встретили они Гавриила.

Молодая еще жена Соколова, взявши Гавриила за руку, сказала:

— Мне давно хотелось с тобой поговорить.

Сели вдвоем на канапе.

Соколов произнес весело:

— Смотри, господин молодчик, не сведи моей жены с ума.

На что Гавриил ответил с галантностью:

— Не извольте опасаться, мы на ваших глазах на этой софе кончим, что нам надобно будет.

И тут заговорила, улыбнувшись, госпожа Соколова:

— Родственник мой Касагов обращается в своевольствие. Собрал он полроты солдат, сам обучил их, жалует в чины, лакеев производит в камергеры и дает им разного цвета жилеты. Не было бы порицательно, если бы он употреблял солдаат своих для одной забавы. Но он направляет их к обиде соседей и к притеснению людей беспомощных. Завел он себе гарем и не из одних крепостных. Сего села поповна в гареме находится, и отец ее, по слухам, Касаговым истреблен, ибо неизвестно, куда он делся. Гарем этот сейчас переведен в другую деревню. Но, уедет преосвященный, — все начнется сначала, и сердце мое кровью обливается.

Добрынин не мог еще уловить становой струны этого чувствительного разговора и отвечал довольно вяло:

— Ваше рассуждение, сударыня, делает честь вашему сердцу. Однако же, судя по каждодневным зрелищам, многое в свете требует исправления. Но зло мира не может быть ни исправлено, ни оплакано.

Госпожа Соколова возразила с живостью:

— Не передал вам, очевидно, отец Палладий, что господин Касагов мне своим доводится, свойство наше не близкое, но я единственная его наследница. Если бы Касагов был признан не в уме, то наследство это к нам бы придвинулось, и мы бедного нашего родственника, может быть, на пагубном пути его и остановили. Отец Палладий уже об этом заботится, не возьмете ли вы на себя труд внушить преосвященному то, что вы от меня слышали?

— Согласен, — ответил Добрынин.

Тут из другого угла комнаты заговорил сам господин Соколов.

— Юноша, — сказал он, — я знаю, что трудящийся достоин пропитания.

Поутру трудящийся уже докладывал архиерею о Касаговских похождениях и от себя прибавил, что болен хозяин любовстрастной болезнью и нужно бояться даже к нему прикосновения.

И другое прибавил Добрынин, по обыкновению архиерейских келейников.

— Не знаю, — сказал архиерей, — что мне с извергом делать, не отлучить ли его мне от православной церкви?

Но утром был подан кофе с хорошей закуской, а потом обед, и день оказался маленький.

А вечером был сожжен фейерверк, и опять пили.

А на другое утро Касагов показал маневры своего отряда и ружейную стрельбу, а архиерей даже сам из окна экзерцициями этими отчасти командовал.

А потом был опять обед, и во время обеда палили из маленьких пушек беспрестанно. Потом хозяин одарил архиерея до чрезвычайности, а Добрынину подарил дорогое турецкое ружье и несколько золота.

Потом зазвонили колокола, и уехал архиерей, оставив Касагова с его отрядом и поповной.

Впрочем, четыре месяца спустя после отъезда архиерейского господин Касагов умер с поспешностью, наследство же получил не Соколов, а Самойлов, родственник Касагова. Соколов же получил в виде выкупа чин.

А куда делась поповна, нам неизвестно.

ГОСПОДИН САФОНОВ И ЛЕГКОНОГИЙ ГРЕК, В ОДНУ ГЛАВУ СОЕДИНЕННЫЕ

Люди, едущие сейчас по своей стране в вагонах, как в конвертах, не могут даже представить себе всего удовольствия путешествия архиерейского.

Была у архиерея переписка с секунд-майором Сафоновым. Переписка была характера бранного, хотел Сафонов попа из своего села выгнать, а архиерей тому препятствовал.

Подъехали к дому обозом.

Хозяин вышел в халате телесного цвета и в туфлях.

Маленькая седая коса перетянута была шнурком на самом затылке этого почтенного помещика.

Архиерей поднялся с подушек и произнес голосом человека, после обеда и вина спавшего и проснувшегося с неприятностью:

— Ты что за человек?

— Я сдешний хозяин, — отвечал старик.

— А почему ты осмелился написать ко мне на пакетах: «Его преосвященству отцу Кириллу», будто бы к своему попу. Лень тебе выписать архиерейский титул.

— Брось, батя, — ответил Сафонов, — ты мой отец, я твой сын, других титулов я не знаю.

Архиерей посмотрел на своего собеседника и произнес устало:

— А, ладно, будь же мой сын, вот тебе мое отеческое благословение. И слез со своего дормеза.

Стол у хозяина был восхитителен,

За столом сидел молодой сын хозяина, гвардейский офицер.

Пили много, пили здоровье друг друга и даже ссорились на языке французском.

Потом решили осмотреть погреб.

Погреб был тих, прохладен и сух.

Архиерей заметил, что в погребе висит образ какого-то святого.

— Страдает святость, — произнес архиерей, — в погребках и банях образов не вешают.

Хозяин молчал.

— Не вешают в погребках образов, — сказал епископ, — вот велю я у тебя во всех боченках дно вышибить.

Тогда закричал хозяин:

— Да знаешь ли ты, что я в доме господин, ты меня имеешь власть вязать в церкви, а я вот тебя свяжу в своем погребе.

Епископ сперва опешил, а потом, примирившись с хозяином, пожелал даже обменяться с ним крестами. Но, в рассеянности взявши у хозяина золотой, тяжелый крест, своего креста ему не дал, обещавши прислать впоследствии.

И дальше поехали тяжелые архиерейские подводы, с неубывающим припасом, передвижные рога избыли.

В дороге встретил епископа в Глуховском монастыре грек епископ Анатолий Мелес.

Епископ этот любил ходить в китайчатом халате на голое тело и босиком.

При входе в епископские покои встретили гости девушку миловидную и раскрасневшуюся, быстро уходящую.

Грек встретил гостей радостно, шлепая босыми своими ногами.

— Очень рад другу, — сказал он, — вы прибыли

счастливого, вот я поправился, а меня только что трясла лихорадка.

— Как же, — ответил Кирилл, — мы ее только что, входя, встретили.

По приятном разговоре сперва обедали, а потом хотели звонить в колокола, но легконогий грек сказал:

— Я хоть и монах, но, священнодействуя в прошедшую против турок войну на хребтах корабельных, привык к пороху и пушечному грому, и потому в своей церкви велел я снять колокола и перелил их на пушки.

Сказавши эти слова, Анатолий Мелес махнул в окно платком, и пушки загремели.

ГЛАВА. СОДЕРЖАЩАЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ ГАВРИИЛУ ДОБРЫНИНУ СВЕДЕНИЯ ОБ ЕПИСКОПЕ — ГРЕКЕ МЕЛЕСЕ, НАЧАЛО ГЛАВЫ ПИСАНО СИНОДАЛЬНЫМ ЧИНОВНИКОМ

Был Мелес не грек и не епископ.

В январе 1751 года греческий епископ Анатолий, по прозванию Мелес, прибыл в Москву, где вызван был в синодальную контору, и здесь дал показание о себе, а также о цели своего путешествия. Показания были не добровольные.

Синодальный чиновник Мелесовы показания записал:

«От роду ему двадцать осмой год; отец его Василий родился в Волохах, в городе Рая-Брагилове, и отгуда в прошлых давних годах выехав, ныне жительствоует в Малой России, Переяславского полку, в местечке Золотоноше, в коем и он, Анатолий, рожден; а имя было, Анатолию, Алексей. И как он, Анатолий, стал приходить в возраст, тогда от оного своего отца отдан для обучения латинского и прочих диалектов в Киевскую Академию, в коей он, Анатолий, и обучался по 1743 год и ходил до школы пиитики; ныне он, Анатолий, по-еврейски и по-немецки позабыл, а знает говорить и пи-

сать по-гречески и по-латыни. В 1743 же, с позволения означенного своего отца, он, Анатолий, поехал в вышеупомянутый волошский город Рая-Браилов. И, приехав в тот город, жил у родственников своих месяца с полтора и, уведомившись от них, что близ того города имеется благочестивый монастырь, именуемый Тристен, пошел в тот монастырь и жил в нем месяца с четыре».

Говоря же проще и без обиняков, убежал переяславский житель в волошские земли.

«И по всеусердному своему желанию, того Тристенова монастыря игуменом он, Анатолий, в 1743 году построжен в монахи, в рясофор».

В монастыре жил Анатолий до 1745 года и под видом иностранца даже ходил в Киев, а потом пошел в Польшу в монастырь, именуемый Мотренин.

«А из оного Мотренина монастыря пошел он, Анатолий, в волоской город Бокурешт, в коем имеется еллино-греческая школа».

Здесь был посвящен этот человек в иеромонахи, а отсюда он пошел для жития в монастыри Афонской горы.

«Куда пришел, явился Павловского Геоогиевского монастыря игумену Досифею и просил, чтобы принят был он, Анатолий, для жительства в тот монастырь».

Тут он жительствовавал нелого, месяца три.

Отсюда был отправлен Мелес Анатолий, как человек знающий и по-гречески, и по-волошски, и по-русски, в Россию за сбором dobroxotных подаяний вообще, а более всего за получением милостинного жалования от оусского правительства.

Поехал Анатолий через Константинополь. С собою вез он разные недорогие, но волшебные предметы: 1) кусок животворящего креста; 2) дары, которые привезли волхвы к младенцу Иисусу, и проч., и проч.

Константинопольский патриарх посвятил Анатолия в аохимандриты.

С этим чином получил беглый семинарист от русского

резидента, господина Неплюева, паспорт на въезд в Россию.

В России был Анатолий по приказу Синода после допроса арестован.

О допросе этом 19 февраля 1760 года была извещена сама императрица.

Вот выдержки из донесения:

«Будучи Вашего Императорского Величества малороссийским, Переяславского полку, местечка Зологоноши, природным подданным, своевольно, в 1743 году, из России за границу ушел, и, бродя в Польше и Волоской земле по разным местам и монастырям, монашество и иеремонашество, через происки свои, без избрания, яко чуждой цеокви клирик, получа, в 1749 году в Афонскую гору, в Павло-Георгиевский монастырь пришедши, через полшеста месяца во архимандрита бывшим Константинопольским патриархом Кириллом, таковым же неправильным образом, произведен, и с некоторой святынею в Россию для получения в тот монастырь определенной по штату Палестинскому милостинной дачи в 1750 году приезжал и получил от Синода за прошлые годы тысячу сто двадцать рублей, собственно от Вашего Императорского Величества пожалованных три тысячи, да ему особливо на проезд данных тысячу рублей; и сверх того по его, Анатолиеву, прошению, данным от Синода указом дозволено было ему же на монастырские нужды и на оплату долгов просить в Российской Империи у доброхотных дателей милостинного подавания через три года; но сколько он того подавания собрал, не дав, по обязательной своей подписке, никакого известия и не явсь с тем ни в Синод, ни в московской синодальной конторе, в 1754 году отбыл за границу.

После того своего отсюда туда возвращения не в долгом времени в 1755 году (как видно душевредным своим происком чрез богопротивную теми деньгами симонию), по изволению единого патриарха, без протчих

архиереев избрания, во епископа, с наименованием токмо запустелой и не имущей в себе ни архиерейского престола, ни обитающих христиан, мелетинской епархии, двумя токмо епископами, произведен».

Далее идут ссылки на каноны.

Оказывается, что Мелес и не Мелес, и не епископ, и, может быть, даже не Анатолий.

Таких будто бы иностранцев в России тогда водилось много.

Знаменитый прозаик Федор Эмин, вероятно, из таких же...

Правда, Эмин не выдавал себя за епископа.

Но далее идут в синодском донесении вещи изумительные.

Был вызван Анатолий в Правительствующий Сенат.

Анатолий имел здесь некоторые секретные высказывания, касающиеся высших интересов, и был Сенатом отпущен.

«Как же в 1758 году оный Анатолий от Сената за границу отпущен, то по заобычайному своему своевольству, прибыв в апреле месяце 1759 года в Запорожскую Сечь, и тамо, по принятии его и по сделании ему запорожцами архиерейского облачения, без всякого от высшей духовной власти дозволения, дерзнул самовольно, аки бы местный и правильный архиерей, в тамошней церкви архиерейское служение священнодействовать, со исключением притом из возглашения настоящего епархиального архиерея киевского митрополита, а вместо его о употреблении своего имени, и после того и пришельцев из-за границы бродяг, яко же и сам, чернецов, к священнослужению допускал».

И вели себя эти чернецы в Сечи буйно, и в царские дни молебнов они не служили.

Дело они вели как будто на отделение Сечи от России,

Получив такие известия, решил и Сенат, что пребывание Анатолия в Сечи бесполезно и даже вредительно, и вызвал Мелеса в Санкт-Петербург с представлением его на волю духовного начальства.

В столицу Мелес явился под арестом и здесь был допрошен при Синоде, со снятием с него архиерейского облачения.

Оказалось, что вел Анатолий с правительством российским переговоры о выводе в Россию албанцев и греков.

Но правительство на это не пошло, опасаясь войны с Оттоманской Портой.

А в Запорожской Сечи задержался Анатолий, по его словам, случайно.

Синод, добравшись до него, не был милостив.

Решено было послать Мелеса в Троицкий Кондинский монастырь в Сибири.

Монастырские тюрьмы были самые страшные.

Везли Мелеса через Тобольск.

Тобольский митрополит Павел доносил Синоду:

«Дорогою Анатолий, не повинуюсь Святейшего Правительствующего Синода решительному о нем определению, неправильно архиереем себя разглашал, и народ благословлял, и к побегу своему способу искал, и прочие непристойные речи употреблял, и в караульного капрала за чинимое ему в том запрещение нож бросил».

Не пропал Анатолий в Сибири. При восшествии на престол Екатерины последовало именное распоряжение вернуть бывшего архиерея в Россию и поместить его в какой-нибудь монастырь, с надлежащим пропитанием.

Синод повеление выполнил. Анатолий был отправлен в Макарьевский Желтоводский монастырь, как простой монах, но на тройную братскую порцию.

В 1767 году Анатолий по повелению императрицы был включен в число штатных монахов Макарьевского монастыря.

Вскоре, однако, у Анатолия начались несогласия с архимандритом.

Анатолий из монастыря бежал.

Всюду были сообщены его приметы:

«Оной монах Анатолий ростом не малый, глаза черные, волосы на голове черные ж, с проседью, на левом виске, близ волос, шрам; лицом бел, борода черная продолговатая; коренаст; говорит по-малороссийски, и сверх того по-гречески и по-латыни».

Между тем Анатолий пришел в Москву и в ночь на 25 декабря явился в тамошней синодальной конторе хлопотать о том, чтобы его не посылали вновь в Макарьевский монастырь. Синод предписал московской канцелярии содержать его под арестом и давать ему в день кормовых десять копеек.

Вдруг последний указ императрицы с повелением Анатолию явиться. Было это 16 марта 1769 года.

После свидания Екатерина поручила обер-прокурору Чебышеву сообщить Синоду, что «ее желание есть, чтоб Анатолий был прощен».

При прощении Анатолий был объявлен снова священником.

Иеромонах Анатолий был с Орловым в Чесменском бою.

Тут становится понятным, почему ему отпустили все вины: нужен был человек для греков и албанцев.

У Екатерины были на Средиземном море большие планы.

Что делал на Архипелаге Анатолий — неизвестно.

В 1770 году Синод постановил вернуть ему архиерейский сан.

Но большие планы не удались.

Флот вернулся в российские гавани.

Вернулся и Анатолий Мелес.

Его убрали в шкаф.

Шкаф этот назывался — Глуховский монастырь.

ИСТОРИЯ О КАНТЕ

При звоне пуншевых чашек и новомодных рюмок возглашал епископ, что синод им посрамлен, что синод не может ответить на хитроумные письма принца-архиерея.

Было получено письмо от господина Остолопова, что дело не так серьезно и считается более в пустяках, потому что суммы взимаемые соразмерны.

Но скромность не была частой гостьей епископа Кирилла.

Слушали гости, пили, пили, слушали, записывали, потому что в монастыре письмо есть донос и ябеда и недаром император Петр, многими Великим называемый, монахам запретил писать вовсе.

Шел слух к синоду, и начал дуть из синода ветер прохладный.

Добрынинские дела тоже в это время испытали на себе как бы налет грусти.

Однажды вечером вошел в келью Добрынина седой родогожский дед.

— Любезный внук, — сказал он, — был в нашем монастыре пожар, и дом мой с пожитками сгорел. И та добрая женщина, которая жила со мною во время моего вдовства, не та, которую ты помнишь, а другая...

Тут вспомнил Добрынин про лихорадку.

— Та, другая, — сказал дед, — такая хорошая. Смерть ее похитила, все с ней умерло. Не дед стоит перед тобою, а тень деда.

— Что тебе надо, дедушка?

— Проси архиерея, Гавриил, скажи ему, дед мой кланяется и просит место в монастыре монахом, дед смирился.

Место в Глинской пустыне, глухой, но не бедной, деду добрынинскому, деду названному, так сказать, приемному, епископом было доставлено.

И там дед и умер.

Архиерей, будучи великим врагом праздности, проводил целые ночи за ужином с монастырскими братьями, с консисторскими членами и с приглашенными из города знаменитейшими ябедниками.

Пили, разговаривали, кричали, говорили силлогизмы, то есть различного рода правильные умозаключения, писали вирши, играли на гуслях.

А бывший базелианский монах Бонифаций Борейко, ныне рыльский архимандрит, обучал всех польскому танцу.

Тут же составлялись ответы синоду.

Но однажды пришло архиерею на ум написать поэму.

Была уже одна поэма об обер-прокуроре Чебышеве, но она, к сожалению, утрачена, будучи ябедниками же исхищена для доноса.

Сей стих, за польским созданный, был посвящен севскому воеводе Пустошкину.

Стих был семинарский, рубленый, с богатыми рифмами.

Вот он, с сокращением неудобобоглашаемых мест:

Здравствуй, храбрый молодец,
Видь, что чести есть конец.
Грудью достают то многи,
Смертной не страшась дороги,
Чтоб отечеству служить,
И за то чин получить...
.....
Вздумал паки наконец,
Чтобы в службе не был льстец,
Патриота вдруг личину
Принял, чтоб найти причину
Человеком слыть честным,
В штатской службе стал иным...

Но какой смысл можно желать от стихов, которые писались за ужином, продолжающимся до тех пор, пока монастырские старые колокола не ударят в достойный?

Кант всем нравился.

На ноты его положи Добрынин и за это получил похвалы, и даже немного денег.

Лекарь Винц, тот самый, который лечил опившегося протопопа и самого Добрынина в горячке, увидавши кант, больше всех восхищался стихов звучностью.

С дозволения архиерея взял он с собой листок для того, чтобы дома насладиться этим произведением.

Назавтра архиерей опомнился и послал Гавриила в город взять от лекаря кант.

Служка встретил Винца, выходящего из квартиры.

— Его преосвященство просит вернуть кант.

— Пришлю, а сейчас иду в Казанскую церковь к обедне.

— И я с вами помолюсь, — сказал слыжка.

— Нет, зачем же вам дожидаться.

— Так мы в церкви молимся, а не ждем.

В церкви лекарь еще два раза уверял Добрынина, что придет кант после обедни, но служка был к нему как приклеенный.

Возвратясь в квартиру, лекарь перевернул на столе свои каталоги, перелистал скотский лечебник, «Пригожую поварику», звякнул пестиком и сказал, что кант куда-то завалился и он сам вернет его архиерею.

Пришлось службе вернуться в монастырь.

Гавриил доложил, что кант, вероятно, у воеводы.

Архиерей посмотрел задумчиво, сказал:

— Кант написан мною не собственноручно, а рукою твоею, и кажется мне наполовину уже, что ты его сочинитель. А ежели ты человеку в церкви молиться мешал, то нужно было уметь и кант выкрасть.

На другой день все же лекарь кант возвратил.

Но воевода кант прочел и считал, что сочинил его Добрынин.

Поэтому через лекаря донес воевода архиерею, что главный жалобщик, дьячок Захарка, имеет с Добрыниным сношения.

Но на архиерея иногда находил благотворный дух.

Тогда он как будто снимал с себя шелковую свою рясу, становился человеком честным, кротким, чистосердечным.

Когда воевода сам приехал к архиерею с жалобой на кант, составленный Добрыниным, Кирилл засмеялся вдруг и сказал:

— Кант я сам сочинил и преплохо.

Но воевода своего доноса о Захарке обратно не взял.

На другой день архиерей был в обычном своем строении и так на Добрынина посмотрел, что тот сразу вспомнил пословицы русские и все священное писание.

Бегство было исконным русским занятием.

Есть в Средней Азии место, где водятся дикие верблюды и где не бывали даже китайцы, хотя место это китайское.

Так вот на этом месте известный путешественник Пржевальский открыл раз деревню русских раскольников.

Бежали раскольники на Аляску.

Бежали русские люди в Турцию, в Валахию.

Очень много бегало в Польшу.

И пословица была:

«Бежка не хвалят, а с ним хорошо».

Добрынин побежал недалеко.

К архиерейским покоем примыкала церковь.

Туда сбежал Гавриил и скрылся под жертвенником.

Слушал он нескончаемую обедню.

Это было в день архангела Михаила — 8 ноября.

Слушал служба, как архиерей пел концерт с певчими.

«Идеже, осеняет благодать твоя, архангеле, оттуда дияволя прогонится сила».

И по голосу и по напеву понял Гавриил, что голова его пресвященства уже совсем полна благодати.

По окончании обедни пономарь Назарий поднял за-

навеску жертвенника для какой-то церковной надобности и увидел Гавриила.

Гавриил молча сделал ему умоляющее лицо.

Назарий опустил полу жертвенника.

Насгупила тишина, служка выполз из-под жертвенника для того, чтобы пуститься в дальнее путешествие.

Но все двери были заперты.

Ясно было, что пономарь Назарий предал.

Но в монастыре знают лазы.

Была в одном окне верхняя рама не вмазана, и через нее же выполз Гавриил.

Затем прополз он каретный сарай и спрятался в архиерейскую карету, и тут пришла к нему такая слабость и бред, что не мог он даже закрыть каретную дверцу.

Слуги нашли Гавриила и принесли его к архиерею.

Адхиерей лежал пьяный и веселый.

— А, это ты, Авессаломе, — сказал он, — слуги хотят предать тебя в руки мои, как Давиду предали сына, но...

Тут заснул архиерей.

А дальше началось действие странное.

Назарий был взят под стражу за то, что он упустил Гавриила. А Гавриил подал на Назария жалобу, что Назарий связан с Захаркой и что Назарий донес на архиерея, будто архиерей жемчуг и каменья, ободренные с образа святого Николая, подарил сестре.

И приехала комиссия, учрежденная по именному повелению, и в комиссии состояли черниговский архиерей Феофил, Гамалеевского монастыря архимандрит Антоний Почека да двое светских, полковник и майор.

И оказалось далее, что по доносу тому нужно допросить не только архиерея, но и воеводу.

И допросить нужно было в качестве свидетеля Назарку-пономаря, но он найден был в своем заточении повесившимся на новой веревке.

АРХИЕРЕИ ОТБИВАЕТСЯ

По правилам ябедническим сперва нужно было лечь в постель, объявиться больным и собрать под рукою сведения через писцов, в чем состоит обвинение в точности и какие доносы и кто свидетели. И свидетелей тех или изъять, или услатить и подкупить, или еще что-нибудь.

Но архиерей не выдержал характера. Лег он в постель, но когда комиссия приехала к нему с городским лекарем для проверки, то вместо того, чтобы в глаза всем заявить, что он болен (они по закону должны были ему поверить, так как показывал он по священству и архиерею верить надо), вместо того архиерей, как только увидел лекаря, выпрыгнул из постели и, схвативши его за шиворот, закричал:

— Я архиерей, а не мужик, мне верить надо, а не свидетельствовать.

Но комиссия ответила с ласковостью:

— Мы пришли вас не свидетельствовать, а выразить вам свое сожаление и уважение по поводу вашей болезни.

Архиерею стало стыдно, и он в постель не лег, а много говорил и по покоям бегал.

И тут Добрынин решил поднять настроение его преосвященства.

Перед смертью господина Касагова, столь спешно похороненного без освидетельствования, ближайшие его слуги были на волю отпущены, и один из них умел делать фейерверк.

Этот слуга, ища пропитания, прибыл к архиерейскому дому.

Добрынин тайно с ним построил фейерверк.

Тут были разные штуки и мудрости, и ракеты, и римские свечи, и даже вензель преосвященного К. Ф. из разноцветных огней.

И вот в самый разгар архиерейской задумчивости пришел к нему служка и сказал:

— Ваше преосвященство, не хотите ли посмотреть радостные огни?

И тут загремели бураки и римские свечи, закрутились колеса, и возвеселилась парижская душа Флиоринского, велел он подать вино из погребцов, и жизнь пошла крутиться своим колесом.

За эту утеху произведен был Гавриил в канцеляристы.

Прибывшая комиссия ни должности преосвященного не уменьшила, ни свободы его не связала, и в 1774 году, в самую лучшую летнюю пору, отправился преосвященный восстанавливать благочиние по своей епархии. И опять поехал обоз, поехал проверять, как живет, между прочим, и сын покойного господина Сафонова.

Писали из Питера, впрочем, что неосторожен архиерей, и нужно ему лучше взять тон ниже и петь другую канту, иначе может он нарваться на братскую порцию. А братской порцией звалась плохо сваренная каша и рыба, которой кормили монахов не чиновных.

Нужно уже было каяться в чем-нибудь, чтобы во всем не признавагся.

Некогда было об этом думать У молодого Сафонова был в чертогах пир протяженный.

С хозяином на пиру присутствовал почти бессменно игумен Путивльский, Мануил Левицкий.

Гремел преогромный оркестр музыки, но капельмейстер дирижировал им не в такт и невнимательно, считая себя за лицо высокопоставленное, потому что жена была хорошей певицей и барской любовницей.

Гремела нестройная музыка.

Архиерей, выпивши с горя и выпивши с веселья, подошел к оркестру и крикнул:

— Играйте!

Капельмейстер же, с горя выпивший и жену свою видящий на коленях у хозяина, крикнул: — Не играйте!

Одни заиграли, другие нет, произошло замешательство.

Все заговорили, закричали, со стороны архиерея встали певчие, пугмен.

Архиерей закричал что-то о хозяине непохвальное.

Хозяин встал, качаясь, как дымный столб, и, схватив архиерея за рясу, закричал:

— Собак!

Тут следует отступление.

О, псовая охота!

Ты воспета дворянскими писателями, ты воспета даже Львом Николаевичем Толстым.

Ты описана Некрасовым, а Некрасов взял свое описание у Фильдинга из «Тома Джонса — Найденыша».

Для того, чтобы собака могла скакать, ей нужно широкое поле.

И, чтобы не могла во Франции скакать крестьянская собака, привязывали к ее шее чурбан или палку.

И право псовой охоты на крестьянских полях есть право феодальное, и против него восставала французская революция.

О, псовая охота!

Сколько зайцев было затравлено, сколько волков и иногда в виде приправы особенной травили крестьян и редко травили духовенство, хотя дворянству и казалось, что длинные рясы священников специально приспособлены как приманка для собачьих клыков.

О, вольность дворянская!

Здесь воля твоя пересекалась с религией государственной.

Легче было панам польским, потому что у евреев тоже длинные полы, а вероисповедания, так сказать, инославного, и собакам совсем удобно.

И отсюда, говорят, родилась еврейская боязнь собак, до сих пор в местечках сохранившаяся.

Но епископов собаками не травили, поэтому мы сей-

час находился перед зрелищем документальным, но чрезвычайным.

Смотрите, давно ли патриарх соцарствовал государю? Давно ли Петр Первый бежал под покров Троице-Сергиевской лавры, давно ли монастыри на своих широких полях создали первые крепкие крепостные хозяйства? Вот еще совсем сейчас шумели ярмарки, расположенные на монастырских землях, вот только что духовенство имело в руках треть земли.

Но проходит слава мира.

Через руки государыни перешла земля шляхеству.

Но тут крик прерывает наше рассуждение.

— Собак! — кричит пьяный Сафонов под звуки пьяного, нестройного оркестра, играющего менуэт.

Архиерей, не дожидаясь, чтобы его затравили, перепрыгнул через стол, проповедуя на бегу:

— Аще гонят вас — во граде, бегайте в другой, и прах прилепший от ног отрясая.

Вслед за ним первым бежал Добрынин, схвативший со стола серебряный подсвечник, на тот случай, если придется от собак отбиваться.

Резво бежал Добрынин, приговаривая:

— Стопы мои направи по словеси твоему.

За ними бежали рассыпным строем, с воплем разных тонов, клир и певчие.

Сафонов остался один на поле брани. Собаки были далеко.

Он взял под руку капельмейстершу.

Оркестр заиграл церемониальный марш и двинулся, сопровождая господина до дверей спальни.

Здесь двери закрылись, и что заиграл оркестр при закрытых дверях, мне неизвестно.

Архиерей же бежал по улице села до дома протопопы.

Ночью спал крепко и не вскрикивал.

Понутру послан был к Сафонову нарочный за архиерейским жезлом, которого вчера захватить не успели.

Посланный, возвратившись, донес, что хозяин встретился с ним нечаянно в дверях залы.

Был одет Сафонов в рубашку, туфли, и больше на нем ничего не было.

Почесываясь, спросил Сафонов о здоровьи архиерея и, узнав, что преосвященный отъезжает, завопил:

— Ах, я думал, он будет у меня обедать! Карету! Штаны! Мыться! Гнать!

Архиерей, желая, чтобы за ним гнались, выехал как можно скорее.

В дороге Флиоринский, увидавши пыль на горизонте, приказал бить лошадей нещадно.

С громом летела архиерейская карета через деревни. Мелькали деревни.

Галки взлетали с деревьев, как брызги с дороги.

Но сафоновские лошади настигли.

Архиерей — в деревне, Сафонов — тут.

Архиерей в крестьянскую избу, Сафонов — во дворе.

Просится, уверяет, что при нем нет ни капельмейстера, ни капельмейстерши, ни собак, и что будет он гнаться как тень за телом.

Будучи допущен, Сафонов встал на колени и закрыл лицо платком, дабы показать, что прошение слезное.

Во время сего рыдания внесена была корзина с вином, на что архиерей сказал:

— Гавриил, открой погребец!

Начали мирный трактат поливать.

Пили, пили, побрались.

Сафонов закричал:

— Собак!

Но никто не испугался.

Собак не было.

Уехали.

Через месяца два узнали: Сафонов опился и умер.

Архиерей, не будучи нрава мстительного, приехал покойника хоронить.

Пел над ним со всем хором и говорил речь и получил за это от родственников великую плату, потому что преосвященный разрешил покойнику все грехи.

Опять приехали в Петропавловский Глуховский монастырь к веселому греку Анатолию Мелесу.

Ночь была летняя, легкая.

Кричали лягушки. В дальнем не монастырском лесу кричала выпь.

Пили, пили, стреляли из пушек, а потом решили звонить в оставшиеся колокола.

Гавриил, любя колокольный звон, залез на колокольню и звонил с певчими и бил по колоколам палками.

А колокола были знаменитые, отлил их святой Дмитрий Ростовский, большой любитель колокольного звона, а также коней.

Кричала выпь, орали лягушки, соревнуясь с колоколами. пел Анатолий Мелес по-гречески, по-французски пел Кирилл Флиоринский, а Добрынин позванивал на колоколах.

И в этот момент приехалá комиссия святейшего синода.

А был донос, что Анатолий любит палить из пушек, никогда не одевается, всегда ходит босиком и заключает монахов в тюрьму безвинно.

Приехал Лубенского монастыря архимандрит Паисий, Густычского монастыря игумен Иосиф и привезли с собой запасного игумна.

Анатолий в один миг протрезвился, перестал палить, обулся в сапоги, умылся, пожевал смолы алоэ, которая возвращает в пьянстве разум и отбивает запах, оделся в рясу, покрылся клобуком, навесил панагию и намотал на руку янтарные четки.

А был Анатолий человек мудрый и красноречивый.

Придя к архиерею, повалился он ему в ноги и возгласил:

— Наставниче! Спаси меня, погибаю!

Архимандрит же отвечал:

— Дурак, почто усомнился еси? Меня судят за взятки, за грабежи церковные, за девок, да я не робею.

И вместе написали ответы и, взявши с собою Анатолия, поехали в Глухов, пункты сдали коллежскому советнику Козельскому.

Увидя Анатолия Мелеса в благолепном виде, обутого, расчесанного, Козельский сказал:

— Ах, ваше преосвященство, как вам пристал этот благолепный вид, ну, для чего бы вам всегда так не одеваться, и вы бы к нам пожаловали, и мы к вам приезжали, и было бы у нас райское препровождение времени. Ведь ваша речь, говоренная перед императорским величеством, знаменита, ведь вы прославили императрицу, и не страшны были бы ваши деяния, если бы они не были громки. Ну, зачем было стрелять из пушек?

На это Анатолий ответил:

— А вы почему не предупреждали меня, греки говорят: там, где проливается вино, там в нем купаются слова, а мое может быть не одно и деяние искупалось в вине. Я зрел корабли российские между рассеянными по Средиземному морю островами. Корабли эти подобны были новому архипелагу. Тысячами медных гортаней пушки возвещали славу российскую. И вот я полюбил мортиры, с которыми судьба моя связана.

По сему случаю решено было выпить.

А в обозе архиерейском был фейерверк.

Пили — и вдруг треск, хлопотня, и пошли крутить колеса.

Дамы визжали, а архиерей севский, зажегши римскую свечку, бросил на петропавловского архиерея и опалил ему бороду.

Трещала борода, ахали чепчики и токи, сиречь дамы, вопль поднимался к небесам.

Когда дым улегся, нашли прокурора Семенова в жалком положении. Он, имея по натуре склонность к апо-

плексии, чуть не помер. Привели его в себя горячими компрессами.

Опамятовавшись, прокурор заявил, что такие шутки противны законам, потому что могут быть смертоносны.

На что Флиоринский возразил:

— Сын мой, для тебя, как блюстителя законов, не было лучшего времени, как в этом дыму, потому что погребли бы тебя два архиерея, оба состоящие под судом.

О СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ ВНЕ МОНАСТЫРЯ

Каждую весну зацветала на монастырском дворе яблоня.

Каждую весну у монастырской стены зацветала бузина. А потом глушила все жгучая крапива.

Все дороги в монастыре были известны. Уже начала ветшать вновь построенная церковь.

Уже старыми становились архиерейские митры, переделанные из риз Николы Мирликийского.

Жизнь там, за стенами, текла и изменялась.

Делили Польшу, делили не сразу, а по несколько раз.

Сговаривались с фамилией Чарторийских, торговались с Фридрихом Пруссим, уступали землю Австрии.

А Мария-Терезия, императрица австрийская, по ночам испытывала угрызения совести и требовала новых прибавок.

Граф Чернышев желал границы по рекам Днепру и Двине, захватывая польскую Лифляндию, Динабург, Полоцк и Полоцкое воеводство.

Примас польский требовал до ста тысяч рублей за содействие.

И в то же время нужно было торопиться и подкупать кое-кого в Белоруссии, и на ремонт Могилевского собора тоже были отпущены еще при Елизавете не малые деньги — 10 600 рублей серебряной монетой,

И могилевскому епископу жалованье 500 рублей.

Епископ этот, знаменитый Георгий Конисский, друг Флиоринского, получив эти деньги, произнес речь примечательную.

Был он в это время еще гражданином польским.

Речь эту не стану приводить целиком, так как изменились представления о красноречии, и речь не может пригодиться в качестве образчика.

Но отрывки ее замечательные:

«Получивши от вашего императорского величества высочайшую милость пожалованьем денежной суммы на достроение церкви и на содержание семинарии и мне вдобавку годового жалованья, дерзаю всеподлейшим письмецом раболепное вашему императорскому величеству донести благодарение. Приходят мне в память слова старец капернаумских, которые Иисуса точно молили за сотника некоего, глаголя: яко достоин есть, еже аще даси ему, любит бо язык наш. О сколько ж несравненно больши резони имею к преклонению тогожде Христа господа, что ваше императорское величество не язык человек, но самого того спаса возлюбивши, на совершение ему храма, всемилостивейше оную сумму пожаловали».

И подписано было оное письмо:

Всепопданнейший раб и подножие епископ Белорусский Георгий.

Сейчас же дело вперед продвинулось до чрезвычайности.

Россия подвигалась к южным портам и округлялась и прикупала к себе новые земли.

Об этом глухо известно было и в монастыре, известно было, что наступают русские сохи на башкирские земли, и башкиры волнуются.

Известно было, что вокруг тульских заводов сожжены леса и переводят теперь заводы к Уралу.

Известно было даже о том, что в Англии строят

люди какие-то сгненныѣ машины и такіе же пытаются строить и у нас в Сибири.

А Могилев стоял на Днѣпрѣ, в Черное море текущем. Реки тогда притягивали к себѣ больше, чем сейчас.

Россия шла к морю, по дороге сбила запорожскую Сечь, Сечь волновалась, пыталась уйти к Турціи, но была слаба. К Польшѣ нельзя было поддаться, Россия прирезала к себѣ Польшу, расширилась в выходе к Балтійскому морю, строила руками каторжников порт в Родервиге, строила из года в год, а волны размывали.

Из года в год населялись степи.

Из года в год тишал монастырь, цвѣла яблоня, старел епископ Кирилл, не на месте сидящій, императрице не нужный, речами не блещущій.

Власть епископа ослабевала даже над Добрыниным.

Гавриил перетащил свои пожитки в особые покои. Начал дополнять свое образование, читал многотомную римскую исторію, переведенную господином Тредьяковским. Читал «Похожденія Телемака» и стихи господина Сумарокова и многих других.

Но больше всего любил он «Пригожую повариху» господина Чулкова, «Письмовник Курганова» и даже сочиненія Вольтера и Монтескье, которые внушили ему окончательное презрѣніе к сочиненіям монашеским.

Неблагополучно было в епископском домѣ.

Поссорился преосвященный с трубчевским воеводой Колюбакиным и выплеснул ему в глаза бокал вина, а Колюбакин отвѣтил ему таким ударом в ухо, что нанесен был святитель на руках притча.

На другой день пришел Колюбакин и, будучи вполпьяна, стал среди монастыря у яблони на коленях.

Был август мѣсяц, на яблонѣ висели яблоки.

Колюбакин, страдая желудком, посмотрел на них с жадностью, потом завопил велегласно:

— Отче, согрѣших на небо и пред тобою!

Архиерей, смотря из окна, отвѣтил:

— Говори, паршивая овца: «Помилуй меня, господи» и стой тут.

В покаях писался донос чрезвычайный с ссылками на Кормью книгу и на указы, и упоминалось о том, что архиерей был не простоволос и на главе его была скуфья, и на груди его была панагия, и был он, можно сказать, в ангельском вооружении.

Колюбакин, пьяный и томимый жаждой, стоял на коленях под деревом и жевал яблоко упавшее.

Вызван, наконец, он был в покой, здесь оправдывался слезно тем, что оба были пьяны.

Мир заключен был на условиях, что Колюбакин будет каяться еще в севском архиерейском доме.

Но Колюбакин во второй раз не приехал.

Тогда архиерей наложил на дом Колюбакинский отречение, то есть отлучил оный дом от церкви.

Протопоп передал архиерейскую грамоту воеводе.

Тот угостил его чаем, тем и кончилась вся трагедия.

Трудно было Флиоринскому, жизнь шумела, государство росло, имущества дворянские умножались.

Монастырь Севский явно стоял на отлете.

Писали епископу из синода, чтобы сам он просился на обещание, то есть в отставку.

Но епископ отвечал с горячностью о своем образовании и о том, что никто не может быть ему учителем.

И отвечали из синода язвительно:

«Весьма горячо вы пишете, и во всяком сердце производит ваша горячность холодность».

И тут тоскующий епископ решил женить Добрынина.

Была у Кирилла племянница, собой красивая девушка, лет четырнадцати. Позвал к себе преосвященный Гавриила и сказал:

— О, чадо, томится дух мой, преклони ухо ко мне.

Было сделано.

— Женись на Софье, и буду я заботиться о тебе как о сыне.

И вдруг с гневом закричал:

— Женись немедленно!

Добрынин ответил уклончиво и получил от епископа перстень, как обручальный, но в перстне был алмаз драгоценный, тоже от Николы Мирликийского.

Но время шло, Гавриил гулял с девушкой, даже чувство какое-то тронуло душу его. Женщин в монастыре мало, Софья была молода. Но шли грозные слухи, епископ был как бы уже не епископ.

Зачем было привязывать себя к коню раненому?

И Гавриил выжидал время, слова не давал, перетягивал сроки к посту.

Была ночь и все спали, спал Гавриил, вдруг услышал стук в двери. И голос епископа.

Гавриил, зная епископские нравы и монастырские багги, решил не сдаваться на капитуляцию.

Схватил он касаговское подаренное ружье, выставил дуло его в окно и закричал:

— Кто подвинется ко мне, того встретит пуля.

Из толпы вышел канцелярист Матвей Самойлов и сказал:

— Советую вам сдать.

Но Гавриил помнил приключения монастырские, и судьбу Назарки-псаломщика и Захарки-дьячка, и ответил:

— Я не дошел еще до такого несчастья, чтобы нуждаться в ваших советах.

— Да вылезай же, — продолжал Самойлов, — архиерей уже спит.

Архиерей действительно спал, а утром, проснувшись, уехал, повелев комнату Гавриила завалить.

Была зима ранняя, уже намело снегу.

Вьюга тянулась по земле тонким воздухом, походившим на ту ткань, что кладут на лицо мертвеца.

Был мрачен епископ.

Он остановил свою коляску.

Мороз был выше двадцати градусов, так обозначала редкостная епископская вещь — термометр.

Сняли.

— Подайте мне пива. Пойте теперь.

Достойно есть, яко воистину блажити тя, богородица. Вьюга неслась по земле, тянуло от горизонта, как из-под двери.

Мерзло пиво в стакане епископа.

Индевели волосы у певцов, куржавела шерсть на лошадях, пели дисканты, плакали, гудели, стараясь не открывать рта, хитрые басы.

— Пойте, сволочи! — кричал епископ. — Не оставлять же мне ваши голоса!

ГЛАВА О СОБЫТИЯХ МОНАСТЫРСКИХ

В монастыре Гавриил проснулся и дверь попробовал, но оказалось, что дверь завалена.

Есть хотелось, день кончался.

День зимний короткий, а есть хочется.

Нужно было придумать, что делать.

Гавриил снял с пальца алмазный перстень, завернул в бумажку и написал на другой, канцелярской, своим почерком:

«Преосвященный владыко! Пожалованный мне перстень, в знак имевшего быть бракосочетания моего с вашей племянницею, возвращаю, в знак вечного моего разлучения с нею, с вами и со всем светом».

Затем взял Добрынин бахтинский пистолет, сел на окно и начал его заряжать.

Послание это выбросил Гавриил через фортку, подождав сторожа криком и показавши в окно пистолет.

Монастырщина любит события, пустились искать епископа, нашли его с певчими недалеко от монастыря.

Певчие уже не пели. а квакали, и сам епископ приустал.

Прочтя записку, вскричал епископ:

— Гнать!

Не прошло и часу, как постучался епископ в двери Гавриила.

— Жив ли ты, Авессаломе? Полно дурачиться, отвори!

Начались переговоры, и спросил Гавриил через дверь письменного увольнения и от консистории аттестат.

Бумаги эти были поданы ему через окно на вилах.

Потом впущен был епископ, он был мягок, устал и спрашивал, почему противится Гавриил браку.

— В брак вступая с племянницей вашей, — сказал Гавриил, — боюсь я как бы кровосмешения.

Флиоринский промолчал.

ОТЪЕЗД РОССИЙСКОГО ЖИЛБЛАЗА ДОБРЫНИНА

Случайностью нужно объяснить то, что невеста добрынинская в великий пост 1777 года скончалась.

Русские люди умирали тогда вообще случайно.

Ломоносов при Елизавете еще писал трактаты о способах размножения и сохранения русских людей.

Жили они просторно, умирали охотно.

Добрынин, погоревав несколько, начал собираться уже к отъезду окончательно.

Был у него друг, дворянин Луцевин, рыльской воеводской канцелярии служитель.

Побили его палками при секретаре за переписание челобитной от гражданства в сенат.

Били Луцевина палками, а секретарь смотрел на это с равнодушным смехом и нюхал табак.

Сидел потом Луцевин в тяжелых железах.

И в железо-то его посадили из жалости, потому что по неблагоустройству тюрем закладывали тогда ноги узников в бревна. И запирали эти бревна замком.

И набирали в одно бревно человек по несколько, мужчин и женщин безразлично.

Луцевин из желез вылез и перешел в севскую конси-
торию с чином канцеляриста.

Здесь подружился он с Гавриилом, вместе читали они
«Пригожую повариху» и «Жилблаза» и вместе мечтали
о дальних путешествиях.

Денег у Добрынина было тысяча триста рублей да се-
ребро, да шуба лисья, да табакерка серебряная с двойным
дном.

У архиерея наступили тревожные дни, ответы синод-
ские носили характер пренебрежительный.

Невнимательно попрощался он со старым своим
слугой.

Сказавши ему с улыбкой:

— Лучше будет — не вспомнешь, хуже будет —
вспомнешь.

И углубился опять в чтение какого-то маленького
французского романа.

Побежали лошади, повернулся монастырь, скрылись
ворота.

Башни боком пошли, переехала коляска через гулкий
мост.

Стал Добрынин на коляске, смотрел на город, на ар-
хиерейский дом.

Колокольчик пел и прыгал под дугою коренника.

С горем сказал Добрынин:

— Прощай, город Севск и архиерейский дом; про-
щайте, приятные минуты, которые промчались, как не
были, прощай, архиерейское горькое пиво и архиерей-
ская неверная любовь. Здесь за стеною получил я зна-
ния корня кубического и римской истории и истории че-
ловеческого сердца.

А Луцевин, пьяный немного, как дворянину подо-
бает, песню запел непонятную о дорогах, которые
должны пропасть, зарасты.

Оглянувшись ямщик, увидал, что не тароваты господа,
но дадут они в первый раз на водку.

Ударил по коням, приняли пристяжные, загремели своими бубенцами и пошли, пошли, как костяшки на монастырских счетах, мелькать версты, к дальней роще поворачиваясь, стали ритмовать дорогу.

Ночевали в пути на постоялом дворе, который отмечен был, вместо вывески, срубленной елкой.

— Куда же мы едем? — спросил Добрынин.

— Куда, где платят и не бьют сильно палками, — ответил Луцевин.

— Мне воинская служба не нравится, — сказал Добрынин, — потому что сейчас война, заставят тебя брать палисаду или драться с янычарами.

— Да, — сказал Луцевин, — воинские офицеры мечтают о себе, что они принцы, а голы, как бубны... Еще дед мой, — продолжал Луцевин, — в цеховые из дворян записался, когда государь Петр требовал дворян на смотр.

— Так ты теперь не дворянин?

— Не вовсе.

Добрынин был слегка разочарован и сказал задумчиво:

— А я может быть из дворян переяславских, — и, помолчав, прибавил: — Но нужно нам дворянство добывать и не из суетности.

— Земель плодородных и для конопли удобных много, а крепостных иметь одни дворяне могут.

— Не оскорбительно ли нам на украинских ярмонках видеть людей и среди них женщин пригожих, враздробь поодиночке продаваемых и не дорого... видеть и не иметь права купить?

— Состояние это оскорбляет человечество.

— Не цветет в нашей стране третье сословие, хочешь жить — будь дворянином.

— Только дворянство делает у нас воздух для человека легким и как бы парижским, — прибавил Луцевин: — И дает шпагу. Нам чин нужен.

Помолчали оба.

Опять заговорил Луцевин:

— Хорошо быть у богатых подрядчиков или откупщиков конторщиком или письмоводителем.

Колокольчики пристяжные, жестяные колокольчики гремели: «Хорошо бы, хорошо бы».

— Хорошо! — говорил Луцевин. — Они знакомы с большими господами и с генерал-прокурором, через которых не только сами себе выпрашивают чины, но и другим имеют случай выпросить. Особливо при заключении в сенате контрактов.

Бежали вдалеке соломой крытые деревни, черный дым шел, как из ртов, из маленьких окошек под крышами.

Деревни были далеко.

Как искры вдали, сверкали кресты церквей, бежала дорога.

«Хорошо бы, хорошо бы» — гремели жестяные колокольчики пристяжных.

И басом гремел в ответ им колокольчик под дугой коренника.

— Я желал бы, — сказал Добрынин, не в такт звону, — служить при таможне, там денег, сукон, полотен, материи и разного галантерейного и щепетильного товара пропасть. И тоже чины можно выпрашивать. Крестьян покупать.

И тут загремели сразу все колокольчики, пошла телега под гору, и сказал Луцевин вдохновенно:

— Присоединена к империи нашей Белоруссия и разделена на две половины, и влита в российские губернии без остатка. Теперь образованы две губернии. Псковская, состоит она из пяти провинций: Псковской, Великолуцкой, Двинской, Полоцкой и Витебской. И Могилевская есть губерния, и разделена она на три провинции: Могилевскую, Оршанскую и Рогачевскую. А генерал-губернатором назначен над обеими граф Чернышев. И

приказано уравнивать жителей новоприсоединенных земель со старинными русскими подданными, дабы пресечь им повод на притязание какого-либо особого права на вечные привилегии.

Кричал ямщик, бежали кони.

Говорил Луцевин:

— По именному императорскому дозволению там губернаторы сами жалуют в офицерские чины и не спрашивают сената. Там люди нужны. Там сейчас в Рогачевской таможене директором Петр Звягин, а был он, как и я, канцеляристом.

Кричал ямщик, гремели мосты.

Вдали, в лесах, искрами уже краснели кресты, потому что садилось солнце.

Гремели колокольчики — «чин, чин, чин, чин».

НОВОПРИБРЕТЕННЫЙ КРАЙ

Дороги в Белоруссии гладкие, и по обе стороны усажены дороги березками.

Так приказал граф Захар Григорьевич Чернышев.

А почта в Белоруссии исправная, дома новопостроенные, запрягают расторопно и испуганно.

Почтальоны в куртках зеленого сукна, на лбу медный герб, на затылке номер.

Все новое. Хорошо метет новая метла.

И мосты во всю ширину дороги и не пляшут, не гремят, только гудят.

А вот города Рогачева нет.

Серые дома.

Костел, униатская церковь и синагога с высокой крутой крышей.

Пустынные валы замка, поросшие травой, песчаные бугры посредине города, на берегу Днепра старый деревянный костел.

Здесь в Днепр вбегает река Друць, и на узком мысе,

по-белорусски рогом называемом, на узкой отмели живет город Рогачев.

Этот город, когда въехал в него Добрынин, весь состоял на казенном жалованьи.

Наши счастьеискатели для начала пошли разыскивать Звягина.

Звягин узнал Луцевина не сразу.

Перебирали многое, вспоминали воеводские канцелярии, знакомых и признали, наконец, друг друга.

Но приняты наши путешественники радушно.

За обедом сказал Звягин:

— Сделали вы благоразумно, дома ничего не досидишься, а здесь место, так сказать, пустое, и нами поляков заменяют, и в людях неразборчивы. Есть у меня благодетель Сергей Козьмич Вязмитинов, знал он меня еще повытчиком.

Тут обрадовался Добрынин:

— Не из рыльских ли он помещиков, я знал подпоручика Ивана Вязмитинова.

— Это брат его младший, — отвечал Звягин. — Но будем говорить по порядку. Наши таможенные должности, как всему миру известно, могут подкрепить состояние человека осторожного, но для жаждущего набогатиться должность наша скользка и пагубна. Благодарение бога, я, держась долго службы и важности присяги, не состою ни под судом, ни под ответом и уповаю на будущее.

Разговор счастьеискателям понравился.

Луцевин произнес:

— Мы люди осторожные и служившие. Скажите, полон ли у вас положенный комплект?

— Полон, — отвечал Звягин, — но будет ли он полон завтра? Тут нужно связаться с человечком одним, вашим одноземцем, господином Хамкиным. Он хорош с правителем канцелярии Алеевцевым, а тот может губернатору поднести любую бумагу.

День следующий прошел в беготне. Приятели познакомились с людьми замечательными.

Например, узнали они таможенного кассира Киселевского, бывшего камердинера севского воеводы.

Теперь он уже получил вольность и шпагу.

Узнали они также некоего человека во фраке серо-светлого камлота.

Человек этот оказался князем Горчаковым, и служил он вместе с бывшим камердинером и давал советы — поступить не по таможенным делам, а по прокурорским.

Старик Хамкин встретил приятелей холодно и показывал пакеты, на его имя присланные.

На пакетах действительно было написано: «Его благородию г-ну Хамкину».

Князь Горчаков принял Добрынина и Луцевина без чинов. Обед был в четыре кушанья.

За обедом сидели хозяин с любовницей Парашей, женщиной ветреной и не грубого свойства.

После обеда княжий слуга Никашка играл на гусях, а Параша пела, и тут Добрынин показал все свое дарование и архиерейскую науку и пел и по слуху и по ноте.

После обеда Луцевин и по слабости натуры и непривычке лег спать.

Но Добрынин, как человек практикованный, вином не был свален, и пошел гулять в сосновый лес у города, прошелся по берегам Друци и Днепра.

Речной ветер обдул хмель.

В шесть часов Добрынин, ясный, как стеклышко, был у Вязмитинова.

Вязмитинов, человек уже пожилой, в костюме степенном, принял Добрынина и благосклонно сказал:

— Люди нам надобны, мы край русскими, так сказать, заселяем. Но места при мне нет никакого, кроме одного сторублевого. Если нужен вам более чин, чем жалованье, я обещаю это место вам выпросить.

«Первым счастьем не бракуй» — подумал Добрынин

и ответил с поклоном, столь низким, сколько позволяет человеческое сложение:

— Известно вашему высокоблагородию, что человек без чина в России почти что человек без души. Если будет ваша ко мне милость, я другого места и не ищу.

— Ну, ладно, напиши просьбу по форме.

— Позвольте, ваше благородие, после просьбы съездить в Могилев.

— Что тебе там делать?

— Познание губернского города необходимо при службе, да и приятеля мне нужно проводить.

— А что ты об нем суетишься, слыхивал я уже, что он при молодости уже занимается ябедническими делами.

— Я этого не слышал, однако, может быть и правда, а может быть это и недоброжелательство. Он еще не устарел, и время научит его, как с людьми жить на земле.

Так говорил Добрынин, помня монастырское правило: «не предавай с поспешностью».

— Все может быть, — сказал Вязмитинов, — но поезжай в Могилев, да привези мне оттуда ведро или два вишен, у нас их в этом году нет.

В десять часов утра просьба была подана, и воевода ее принял и, прочитав, сказал:

— Очень хорошо, нам добрые люди надобны.

А в прошении было прописано Добрыниным почти по нечаянности, что происходит он из малороссийских дворян.

И опять пошли, побежали пестрые от теней новопосаженных березок белорусские дороги.

Запестрели сквозь белые березовые стволы белорусские поля.

В Могилеве обеды были дороги.

Город переполнен различного рода ищущими службу молодыми людьми.

За обедом решили две вещи:

Первый пункт: выпить польского меда понемногу.
Мед этот сразу лишил приятелей ног, но не ясности головы.

Также решено было — Луцевину вступить на службу и при открытии наместничества искать местов не низких и не упускать случая в приобретении чинов, так как по здешним местам они — люди ценные.

Луцевину на другой день повезло.

Назвал он вице-губернатора Воронина его превосходительством, и тот вспомнил родственников Луцевина и сразу на службу принял.

И разговора о дворянстве Луцевина так и не поднялось.

Кафедральный собор, на елизаветинские деньги построенный, был велик, бел и пуст.

Несмотря на праздничный день, была полна зато губернская канцелярия, она кишела множеством приказных и новопожалованных в обер-офицеры.

Новые позументы и пуговицы сияли.

Люди хохотали, шатались, как на рынке, посыпали пудренные волосы песком из песочниц и резвились всячески.

Луцевин поступил в эту ораву сразу и продвигался впоследствии с успехом, о чем может быть и будет упомянуто.

С некоторой грустью уезжал еще непожалованный чином Добрынин из веселого Могилева.

Он не забыл купить два ведра вишен, насыпал их в боченок.

Поехал, уже скучнее казались белорусские дороги, казенные колокольчики напоминали монастырские колокола.

Вот опять Рогачев и крутая синагогальная крыша, и евреи в длинных сюртуках и белых чулках. Вот опять и Друць, скучно впадающий в Днепр.

Узкое место Рогачев.

Вязмитинов принял Добрынина сперва с интересом.

— Ну-ка, покажи вишни, — сказал он.

Боченок был представлен.

— Друг, — сказал Вязмитинов, — скупой, но умный, переложил бы вишни вишневым листом, и они бы в дороге не побились. Мудрый залил бы вишни французской водкой, а она продается в Могилеве по четыре рубля ведро. Неосторожный и нерадивый же привез вишни битые. Грустно мне, но тебе с чином придется подождать.

СЛУЖБА, СТИХИ И САНКИ

Вязмитинов, в чин Добрынина не произведя, уехал в Рыльск к отцу гостить.

Остался Гавриил один в канцелярии, канцелярия была в избе мужичьей, хозяин которой был переименован уже в мещанина.

В темной каморке, где стоял стол канцелярский, бежали непереименованные еще черные тараканы.

Замазавши и заклеивши все щели, особенно вокруг косяков, и забелив их, стал работать в этом приюте правосудия Добрынин не очень радостно.

В канцелярии был сундук, в сундуке дела, не внесенные в опись.

Делать, в сущности говоря, было нечего. А у князя Горчакова Параша хорошо певала, гуслист играл, и первый раз в жизни Добрынин пел для себя, правда, за чужое, даровое вино.

Сюда часто приходил господин Шпынев, ученик славного Ломоносова. Он был человек не обычной образованности.

И сам Добрынин различал ямбы от хореев, знал, что такое рифма долгая, богатая.

И только неполное знание мифологии удерживало его от сочинительства.

Но тут помогал приятелям славный мифологический словарь.

И даже для образов поэтических хорошо работала книга, издание еще амстердамское, когда и гражданского шрифта в России еще не было, и называлась та книга «*Simbola et Emblemata*».

Шпынев же писал стихи без мифологии и пил как Ломоносов.

Здесь сочинялись стихи сатирические на разного рода людей в городе.

Например, на господина Хамкина было написано стихотворение:

Хозяин здесь живет пространная гортани,
Во храме божьем что ревет, без всякой дани.

Господин Хамкин на эти стихи рассердился и считал их негодными.

Косился на приятелей и воевода Малеев.

Предложено было Добрынину являться в общую канцелярию зауряд со всеми, и может быть и совсем бы погиб господин Добрынин, потому что именovali уже его господином, если бы он не читал книгу, называемую «Светская школа, или отеческое наставление сыну о обхождении в свете».

Книжка была интересная. Подарил ее Добрынину Шпынев.

А Горчаков с обидностью, когда увидел Парашку, на Добрынина глядящую, в книге этой ногтем отметил речь Аристипа:

«Ты сам знаешь, что шляхетство человеку высокие мысли дает и ни до каких подлых дел его не допускает. А все первые дела камерной службы и в глазах у дворян презренны. Всем высшим надобно кланяться, а перед знатными купцами ползать, а при том бы к знатным людям ход иметь, у которых камерные служители через

лакеев, женщин и через людей боярских всякими образами вкрадываются, а дворянству все сие подло, мерзостно и противно».

И далее:

«Кто в камерный чин из бедности, да и подлого рода пойдет, тот во всякие, а особливо пользу приносящие дела без стыда и боязливости вступает, зная то, что ему хуже и беднее быть невозможно».

Прослушав эти слова, Добрынин вынул из кармана случайно унесенную от епископа своего табакерку, поиграл ею в рассеянности и произнес бледным голосом:

— Да, просвещение...

Придя домой, Добрынин сел писать стихи и писал до утра, а утром увидал с изумлением, что стихи написаны им не на Горчакова, а на Шпынева.

Стихи эти были забыты им как бы случайно на столе в канцелярии общей.

Прокурор прочел их без рассеянности.

А вечером Добрынин был уже приглашен в компанию первых чиновников города, и дан ему был вхожий стакан, и тут он стихи прочел, и все много смеялись.

А стихи эти были следующие:

Что чадна голова, глаза, лицо окисли,
Что брюхо на ноги, чело на нос обвисли,
В смердячей хижине гнилой свой труп скрывает,
С похмелья весь дрожит, свирепо ртом зевает,
То славный муж Шпынев, что всем чертит стихи,
Не зря на свой порок и пьяные грехи.

С тех пор участь Добрынина поправилась, он был даже уволен от обязательного сидения в канцелярии, но позволение это употреблял с умеренностью.

К князю Добрынин продолжал ходить, но принимали его уже с умеренностью и холодностью.

По первому зимнему пути вернулся из отпуска и благодетель Вязмитинов.

Вернувшись, позвал он к себе Добрынина и сказал:

— Много ли у тебя в Севске денег оставлено?

— С тысячу рублей, но получить их одним разом трудно, потому что розданы они под проценты.

— Привез бы ты их сюда, здесь жида дадут тройные проценты. Я тебе это устрою.

Добрынин сообразил, что, значит, проценты будут четверные, и сказал:

— Лучше бы мне было в Севске показаться с обер-офицерским чином.

И на двадцать шестом году жизни своей был объявлен в приказе Добрынин коллежским регистратором и смог вдеть, наконец, шпагу в карман своего кафтана.

Даже Рогачев как будто изменил весь свой вид.

А и чин-то был весь — провинциальный протоколист.

Получил Добрынин приказание заехать из Севска в Рыльск к родственникам Вязмитинова и твердо дал себе слово все поручения выполнить.

И вот опять Севск и река Сева под голубым льдом. И вот обе части города и городская и Заморицкая, а вон и река Морица. Зимой она кажется оврагом.

Вот дымится паром мучная мельница на плотине.

— Здравствуй, Севск, а раньше я тебя и не видел.

Питейных домов — десять. Гостиный ряд, лавок — сорок три, церкви три городских, а вот Троицкий девичий монастырь о четырех башнях, и в нем две каменных церкви и семнадцать монахинь.

Хорошо, что не остался Добрынин в монастыре.

А вот и фабрички краскотерочные, и вот, наконец, Спасский монастырь, и каменная ограда, и две церкви — одна каменная, а другая деревянная, та самая, из которой таскал Добрынин щепки.

Архиерея в монастыре не было. Архиерей был в Орле.

Мать свою Добрынин посетил и при ней проделывал шпагой различные движения, а она ахала радостно.

Прочие на шпагу менее радовались, и секретари бурчали вполголоса, что все наместнические чины не настоящие, а только зауряд-чины.

Но мудрость уже гнездилась в сердце Добрынина.

Недаром прочел он уже и книжку «Светская школа», и «Грациан, придворный человек», и многие другие полезные книги.

В Рыльске купил он за пять имперялов модные санки. А пять имперялов были в то время деньги большие.

Санки были лакированные по светлозеленой краске, в приличных местах выложены бронзой. Подушки и на медведях покрывала из лучшего рытого трипа.

Саночки эти Добрынин поставил на другие рабочие санки, чтобы в дороге их не разбить. А в санки поставил ящики с английским пивом и ящики завернул в сено, помня судьбу могилевских вишен.

А деньги спрятал, так как и сам умел брать четверные проценты.

Дорога была хорошая, гладкая. Небо голубое, шуба теплая. До Рогачева доехали благополучно.

Иван Козьмич Вязмитинов принял господина Добрынина с интересом.

И спросил сразу:

— Деньги привез?

Протоколист поклонился по-граждански и ответил:

— За краткостью и внезапностью времени сдали мне только триста рублей, которые при сем и прилагаю.

Вязмитинов сделал невеселое лицо.

Добрынин поклонился с грациозностью и прибавил:

— В награду этого от меня недостатка привез я для вас санки подарочные.

— Езди, братец, сам, — сказал Вязмитинов сурово.

— Прошу посмотреть, я их приказал поставить здесь в больших сенях.

Вышли в сени.

Улыбка непрощенная раздвинула почтенные губы благодетеля.

Санки были двухместные, а третьему на запятах, и так уютны, и так легки.

— Нужно будет, — сказал Вязмитинов, — поискать для таких санок у купцов рысака.

И открыл медвежью полость, приговаривая:

— Ну и богаты. А здесь что за сено?

— Это чтобы не побились бутылки с английским пивом.

— Ну, братец, ты великий мастер ездить в отпуски, чинок ты износишь быстро, быть тебе когда-нибудь при звезде.

К ЗВЕЗДАМ

Весною приехал Луцевин из Могилева. И был Луцевин уже секретарем.

А Добрынин был только протоколистом. Даже небо слегка над ним пожелтело.

А между тем наступало время открытия могилевского наместничества.

Не спал Добрынин по ночам и то вздувал, то тушил огонь. И с ним самим чуть не начинались припадки лунатические.

«Вот, — думал он, — и санки, и не я в них прокатился».

Но благодарность жила в тучном сердце господина Вязмитинова.

На просьбу об отпуске в Могилев не только он отпуск дал, но дал два письма — одно к полковнику Каховскому, а другое к брату своему, к самому генерал-адъютанту Вязмитинову.

И сверх того поцеловал Добрынина в лоб и сказал:

— Поезжай, умница.

Добрынин бросился было милостивцу в ноги по мо-

настырскому обычаю, но как-то уперся в эфес своей шпаги и на ногах устоял.

Так действует на человека благородство.

Каховский принял письмо ласково. И адресовал тотчас просителя к господину Алеевцеву.

Алеевцев был человек замечательный.

Стиль он имел краткословный, ясный, отрывистый, знал законы гражданские и представлял собой уже чиновника нового времени.

Но любил пить и за пьянство сидел часто под каралом для протрезвления.

Но вино не заставило еще господина Алеевцева отолстеть, он был белокур, румянен, имел живые голубые глаза, и не то, чтобы очень полон, но несколько толстоват. Волосы бело-рыжеватые и несколько уже вытертые.

Хорошо сидел мундир из зеленого сукна с красным воротником.

Прочитав записку Каховского, Алеевцев спросил:

— И что же вам надобно?

Добрынин поклонился не так низко, чтобы не подумали, что он проситель бесплатный, и сказал.

— Чин и при открытии наместничества место.

— Очень хорошо, получишь, приходи чаще в канцелярию.

Радостный прибежал Добрынин домой и рассказал Луцевину об успехе.

Но провинциальный секретарь известие это принял холодно и сказал:

— Походишь...

Канцелярия была светлая, порядок в ней уже установился, уже не бегали люди, не посыпали друг другу головы из песочниц.

Скрипели перья, шелестела бумага, просители говорили вполголоса.

Добрынин ходил, переписывал, что давали. Прошла неделя.

Передавая бумагу Алеевцеву, вложил Гавриил в нее пятьдесят рублей.

Алеевцев поднял на Добрынина голубые свои глаза и спросил:

— А, это ты, а как тебя зовут?

— Гавриил Добрынин, — ответил протоколист.

— Ну, хорошо, я помещу тебя в расписание на регистраторскую вакансию при губернаторе.

Речь эту с вытянутой шеей слушал переписчик у соседнего стола.

И, едва вышел Алеевцев из комнаты, поднялся шум, крик и заглушенный вопль.

— За что, — говорили, — чорт из болота помещен при губернаторе? Он без году неделя, а мы здесь уже день и ночь трудились.

В этот момент господин Алеевцев вернулся в комнату.

Наступило молчание, Алеевцев сел в свое кресло и, не поворачиваясь к чиновникам, так сказать, задом, им ответил:

— Молчите, дураки, ведь всех вас нельзя поместить при губернаторе на одно место, а этакий человек при нем надобен.

И вдруг, повернувшись, закричал:

— Молчать, не разговаривать, а знаете ли вы, что такое правописание?

Только скрип перьев полчаса раздавался в канцелярии.

Но Добрынин на правописание не надеялся.

И через несколько дней подал переписку опять-таки с пятьюдесятью рублями.

Алеевцев посмотрел на него ласково и спросил только:

— А по батюшке тебя как?

— Иванович, — сказал Добрынин.

— Ну, Гавриил Иванович, я сейчас напишу предложение с одобрением твоих трудов и способностей, кото-

рые самым превосходительством замечены, и произведу я тебя... Впрочем, пойдем в соседнюю комнату.

В соседней комнате Алеевцев продолжал:

— Произведу я тебя в губернские секретари, это значит через чин.

Бумага была написана. Но, к ужасу Добрынина, положена под сукно.

— Как же-с? — произнес он.

— Надобно, Гавриил Иванович, время выбрать для подписания.

На другой день Алеевцев запил, запил дома и пил глухо и крепко.

Дом на запоре, а у дверей солдат Данилка Цербер, хотя и двуглазый.

И тщетно стучался Добрынин и давал Данилке и рубль и два.

Данилка молчал и дышал в лицо Добрынина луком и водкой.

Только позднее узнал Гавриил Иванович, что Данилка брал только двадцать пять рублей, а тут оказалось, что курносый провинциальный секретарь Теплынин вычистил из списков Добрынинское имя и вписал свое, потому что список еще не был подписан губернатором. Добрынинское же имя вписал вместо своего на вакансию по-вытчика к наместническому правлению.

Это значит классом ниже и на шестьдесят рублей меньше жалованья.

Пришлось действовать уже решительно.

Явился Добрынин к Каховскому, и выслушал он от него только слова: «Очень хорошо».

Но Гавриил Иванович кланялся и не уходил.

Каховский посмотрел внимательнее и прибавил:

— Пойди часу в десятом в губернаторскую канцелярию и скажи от моего имени, чтобы о тебе доложили губернатору, и я там буду.

Так вышел Добрынин на улицу и подумал:

«А не зайти ли мне к господину Вязмитинову; санки-то ведь были с медведями».

А Вязмитинов как раз прибыл от графа из Полоцка и квартировал в городе.

Добрынин вошел без доклада.

Вязмитинов сидел за столом, в мундире, над бумагами.

Гавриил Иванович поклонился и начал пространно говорить о своем почтении и о том, что брат Иван Козмич кланяется.

Генерал-адъютант встал, вышел на середину комнаты и спросил быстро:

— Давно ли ты его видел, где ты служишь, зачем ты здесь?

Добрынин ответил с быстротою:

— Ищу чина и места, больше по милости, нежели по заслугам. Видел две недели тому назад, зовусь Добрынин, нахожусь в сомнении.

— А, санки, — сказал генерал-адъютант. — Пиво твое, как же-с, ко мне было даже переслано.

И тут вошел Каховский.

И, увидя просителя уже разговаривающим с генералом-адъютантом, сказал:

— Как же, как же, к десяти часам?

И в этот момент в комнату вошел человек малорослый, с большой головой, с бледно-серым лицом в веснушках. На голове был тупей, наподобие, распущенного паруса или крыльев ветряной мельницы. Косичка была спрятана в кошелечек темновишневого цвета. Кафтан был тоже темновишневый с золотыми петлями.

И под левым плечом шапо-ба.

Человек вошел и заговорил быстро по-французски.

«Так вот они, какие они парижане» — подумал Добрынин, вспоминая епископа.

Но Вязмитинов спросил гостя по-русски:

— Как вам показался Могилев, господин Полянский?

В канцелярию губернатора Добрынин был впущен без обряда стояния в передней.

Губернатор ходил тихим шагом по горнице и молча взглянул на Добрынина.

Полковник Каховский дал знать, чтобы Гавриил Иванович вышел.

Смотр кончился.

В канцелярии спросил Добрынина молодой губернский секретарь:

— Где же те предложения провинциальной канцелярии, о которых вы сказали господину Каховскому, что они написаны Алеевцевым о произведении вас секретарем?

— Вот здесь на столе под сукном, — ответил Добрынин, приподымая красное сукно.

Бумага еще лежала на месте.

Через час вышел Каховский и сказал:

— Поздравляю вас губернским секретарем.

— Кому это сказано? — спрашивали друг друга в канцелярии.

— Это мне, — сказал Добрынин.

— Э, брат, видно, тебе не наше горе.

Уже не обер-офицером был Добрынин, а штаб-офицером.

Так тут подошел к нему господин Каменский и сказал:

— А того мопса, секретаря Теплынина, который имел глупую дерзость вычистить ваше имя в списке, приказано поместить на канцелярийское место в ваше распоряжение. Вы ему шкурку потрите.

Если бы не шпага, пал бы Добрынин в ноги господину Каховскому, но шпага опять уперлась в землю, и тут вышел Полянский, легкой своей парижской походкой, и сказал по-русски:

— Этот новый губернский секретарь имеет даже манеры благородные.

Спасибо тебе, шпага!

Господин Каховский же посмотрел на Добрынина с ласковостью и сказал:

— Благодарите господ Вязмитиновых.

Но труден путь к звездам.

А Алеевцев, — правда, не он представил, но он написал, а если он отметит или переведет, или отставит?

По могилевским улицам бежал новый губернский секретарь, вот и деревянные пилястры дома Алеевцевского и вот дверь.

— О великий Данилка, сын слепого и мгновенно проходящего случая, о верный страж у врат великого писмоводителя, о могучий цербер, коего лаяние не смеет пренебречь и сам вице-губернатор Воронин. — Слушай, я прислан с запиской от полковника Василия Васильевича Каховского. Вот от него записка, записка очень важная, каких еще не бывало от начала всех секретарских ворот и сторожей Данилок.

А просунул Добрынин в щель не записку, а ассигнацию двадцатипятирублевую.

И дверь тихо открылась.

И тут в эту же дверь боком полез советник камерной экспедиции Петр Ильич Сурмин.

Но в Сурмина уперся крепкий Данилин локоть. И голос Данилкин произнес:

— А вас, сударь, не велено пускать.

Но Сурмин отвечал с находчивостью:

— Ты, Данилка, не знаешь, что ты назначен уже сторожем к нам в наместническое правление, и я тебя там закатаю.

И рука Данилкина опустилась.

За сениями, за коридором сидел пьяный, но не слишком, Алеевцев, в мундире, но без штанов.

— Очень рад, — сказал он, — что вы сами, Гавриил Иванович, о себе порасторопничали. И правильно вы сделали, что ко мне зашли, потому что я вас запишу не

17 мая, как вы пришли, а 30 апреля, потому что в мае месяце кончилась власть губернатора давать чины, и вы без меня были бы как бы не произведены.

И тут на стол сама поползла еще одна пятидесятирублевая бумажка.

Так разговаривая, просматривал Алеевцев губернаторские дела и вдруг, может быть и для форсу, разодрал одно из губернаторских предложений.

Алеевцев поднял свои голубые и пьяные глаза и сказал:

— Тут спорное дело между камерной экспедицией и губернатором, и лучше поберечь Михайла Васильевича. А вы сейчас возьмите предложение в рогачевскую провинциальную канцелярию и скажите там, чтобы написана была резолюция: «Представить рапортом в камерную экспедицию о вычете с вас в казну за чин». Вот и будет вид, что бумажка залежалась в регистрации, и производство правильное. А я вас определяю не в камерную экспедицию, а в казенную палату к людям новым. к самому парижанину Полянскому.

Добрынин был рад радостью почти испуганной. Но назавтра приключилось происшествие.

Пришла бумага от Вязмитинова, что изумляется, для чего не едет Добрынин обратно к должности. Дело было соленное, потому что именем Вязмитинова Добрынин уже злоупотребил.

Пришлось ехать в Рогачев. Тут оказалось, что Вязмитинов не так рад новым позументам Добрынина, как он сам, и выговаривал.

Пришлось немножко пожать из себя масло. Сумма, которая была здесь заплачена, неизвестна.

Но тут пришла еще бумага от Алеевцева, чтобы прислан был находящийся при комиссарской канцелярии господин Добрынин, как служащий казенной палаты.

Выехал Добрынин ночью и всю дорогу смотрел на звезды.

О ПАРИЖАНИНЕ ГОСПОДИНЕ ПОЛЯНСКОМ

Город был Могилев не малый. Был там господин Гамалея, правитель канцелярии, известный масон, но история его не уложится в этой книге, были там губернатором сперва граф Чернышев, а потом господин Пассек, а епископом Георгий Конисский.

Про Конисского будет еще говорено, поговорим о Пассеке.

Пассек был из тех лейб-гвардейцев, которые в смутный день возвели Екатерину на престол российский.

Был Пассек собою, как гвардеец истинный, высок. Имя ему было Петр Богданович.

В заговоре считался одним из первых. Его и пытались арестовать, и с его ареста начался переворот. За переворот получил он чин гвардии капитана и двадцать четыре тысячи рублей.

И село под Москвой и мызу в Ревеле, а через год еще четыре тысячи рублей и по тысяче рублей ежегодно.

Был он потом губернатором Могилевского наместничества, а с 1771 года генерал-губернатором Белоруссии на место графа Чернышева.

При нем-то и расцвел господин Полянский.

Полянский, дворянин казанский из средних, служил в Сибири, отличался исправностью, а в 1771 году, живя в Швейцарии в целях лучшего образования, подружился с Вольтером.

Он был из русских парижан, влюбленных в парижскую триумфальную арку.

Любил его сам Вольтер и писал о нем письма пресветлой Екатерине:

«... В пустыне моей теперь находится ваш подданный, г. Полянский, уроженец Казанского вашего царства. Не могу я его довольно выхвалить за его вежливость, благоразумие и признательность к милостям вашего императорского величества».

Во втором письме от 3 декабря:

«... Г-н Полянский делает мне иногда честь своими посещениями. Он приводит нас в восхищение делаемым им описанием о великолепии двора вашего, о вашей снисходительности, о непрерывных ваших трудах и о множестве великих дел ваших, кои вы, так сказать, шутя производите. Словом: он приводит меня в отчаяние, что мне от роду без малого девяносто лет, и что я потому не мог быть очевидным всего того свидетелем. Г. Полянский имеет чрезмерное желание увидеть Италию, где он мог бы более научиться служить вашему императорскому величеству, нежели в соседстве к Швейцарии и к Женеве. Он сколько очень умный, столько и очень добрый человек, коего сердце с истинным усердием привержено к вашему величеству».

На сие императрица отписала:

«... Господину Полянскому, принятому вами под ваше заступление, приказала я доставить деньги, потребные для его путешествия в Италию, и думаю, что он их в самый сей час получил».

В третьем письме от 11 декабря 1772 года Вольтер писал:

«... Я получил печальное известие, что тот Полянский, который, по воле вашей, путешествовал и которого я столько любил и почитал, возвратившись в Петербург, утонул в Неве. Если это правда, то я чрезмерно сожалею. Частные несчастья всегда будут случаться, но общее благополучие вы устраиваете».

И в четвертом письме, от 3 дня января 1773 года:

«... Г-н Полянский уведомляет меня, что он не утонул, как мне о том сказывали, но что он, напротив, в тихом пристанище и что ваше величество пожаловали его секретарем академии».

Вот кто был Полянский.

Не потонул господин Полянский, но были у него разные приключения.

Было у него в Москве любовное приключение, и увез он в карете чужую, господина Демидова, жену и от погони полицейских отбивался шпагой и за это, а также за дерзкие ответы был приговорен сенатом к тому, чтобы отрубили господину Полянскому предерзостную правую руку.

Но Екатерина императрица была еще в то время женщина зауряд-молодая, подобно тому как в Могилеве были все чиновники зауряд-чиновниками, и показалось всемиловитвейшей императрице делом это веселым и рыцарством, и Полянского она простила.

Граф Чернышев Полянского выпросил к себе в наместническое правление, уверяя государыню, что сам он, граф, в молодости был так же предприимчив.

Уже постарело наместничество, и изнасились ливреи швейцаров, и потускнели медные булавы на малиновых перевязях, а Полянский все цвел, цвел и при Чернышеве и при Пассеке.

Пассек интересовался только лошадьми, любовницей и сыном побочным.

Полянский же был честолюбив.

Знание языков и литературы, и танцев, и карт, и скорая мысль, и счастливая память делали Полянского в губернии как бы диктатором.

Он сажал дерзких и глупых дворян в караульное, неисправных секретарей и служителей посылал туда же, а с мещанами слов не терял, а просто приказывал повиноваться в безмолвии.

Многие пытались сцепляться с Полянским в спор, но он всегда выходил победителем.

И был он в губернии самый большой человек, хотя и роста имел два аршина два вершка, считая вместе с каблуками и высоким тупеем.

Проезд государыни Екатерины, она же солнце, в 1779 году был годом для Могилева замечательным. Через город в мае месяце проехала, чтобы здесь на

галеры сесть и дальше следовать уже Днепром до самого Херсона (осматривать заведения вновь приобретенных губерний), в мае проследовала через Могилев божественная Екатерина и с ней под именем графа Фалькенштейна император австрийский и римский Иосиф Второй.

Император ехал инкогнито.

И прибыл в Могилев за день до императрицы.

Росту он был среднего, лица немецкого, то есть более темнокрасноватого, нежели белого.

Ходил в зеленом гарнизонном мундире и не привлек бы к себе внимания, если бы губернатор Пассек не поклонился ему слишком низко.

Вечером в саду могилевского архиерея губернатор разговаривал с графом Потемкиным.

Добрынин ходил по городскому валу, с которого в сад все было видно.

Император был больше похож на столяра или переплетчика, Потемкин же, человек роста крупного, крепкого сложения, но немного отолстелый, был одноглаз, но это, казалось, не портило его лица. Он стоял, разговаривая с императором, оба были без шляп, шляпу Потемкина, усеянную драгоценными камнями и на взгляд тяжелую, держал адъютант.

Император свою шляпу держал сам и разговаривал с Потемкиным заинтересованно.

Потемкин зевал, грыз ногти и, казалось, скучал.

Добрынин весь обратился в зрение.

«Так вот это он, смоленский семинарист, получивший медаль в Московском университете, собеседник монахов Заиконоспасских. Он — счастливый соперник Орлова. Недавний вахмистр и ныне князь светлейший, прославленный победитель Оттоманской Порты. Князь Римской империи, основатель Херсона, магистр ордена князя Владимира равноапостольного, шаф кавалергардского полка и всех орденов кавалер, увенчанный самой импе-

ратрицей лавровым венком, осыпанным изумрудами и бриллиантами, и даже ко всему кошевой батька запорожских казаков и войска черноморского».

Вот он зевает и грызет ногти.

Ночью Добрынину не спалось, и чин губернского секретаря казался ему маловатым.

Ах, слава!

Ее величество прибыла в город с конвоем кирасирского полка. Проехала сквозь Триумфальные ворота, специально построенные. В соборе встретило государыню духовенство, и Георгий Конисский произнес речь свою знаменитую.

Речь была столь высокопарна, что знаменитый иерарх сам приподымался на цыпочки.

Речь эту целиком я не приведу, но дам в извлечениях и сокращениях.

«Оставим астрономам судить, солнце ли около нас ходит, или мы с землею около его обращаемся. — Наше солнце около нас ходит. Исходиши премудрая монархиня, яко жених, исходяй от чертога своего. От края моря Балтийского до края моря Евксинского шествие твое, да тако ни один укрывается благодетельныя теплоты твоея. Тецы убо, о солнце наше, спешно! Тецы исполнинскими стопами; в западу только жизни твоея не спеши, а в противном случае мы уцепимся за тебя и потребуем, как Иисус Навин: стой, солнце, и не движися, дондеже вся противная намереньям твоим победиши».

Солнце это имело вид слегка одутловатый, не высокий. И сперва кланялось земно, потом устало и село на место, нарочито приготовленное.

Место было с барьером, и богомольцы даже не видели, что солнце, вздыхая молитвенно, спокойно раскладывает пасьянс.

Что касается Георгия Конисского, то получил он за эту речь крест с бриллиантами. А Пассек для раздачи

людям получил целую шкатулку с табакерками, часами и перстнями. Но дела бывшего лейб-гвардейца были так плохи, что решил он вещи не раздать.

Затем была заложена церковь имени святого Иосифа, и здесь Георгий Конисский опять сказал речь, а императрица ответила ему кратко и невнимательно.

Здесь же было произведено пожалование многим шляхтичам с переименованием в русские чины.

И многие из пожалованных не понимали, почему нет у них полков, если они названы полковниками.

Екатерине Георгий Конисский нужен был меньше шляхты, и поэтому старый архиепископ был принят холодно.

Нужно было мириться с дворянством по общему порядку империи, которая в это время на дворянстве держалась.

Православные же и униаты были крестьяне. И делать униатов православными было преждевременно, и Георгий Конисский напрасно радовался, что наступили прохладные времена, — к нему тоже отнеслись довольно прохладно.

Толпилась шляхта в наместнической канцелярии, спрашивала, что такое титулярный советник и что такое надворный советник.

На эти вопросы чиновники огрызались, потому что сами не были произведены.

Наконец, при звоне колокольном императрица отбыла.

На отбытие ее смотрели одни нервные и любопытные евреи.

Белоруссы же отнеслись к проезду императрицы и римского императора с равнодушием, которое изумленные чиновники называли кошачьим.

Но солнце — Екатерина — белоруссов скорее пекло, чем грело.

ГОСПОДИН ПОЛЯНСКИЙ И ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ ДОБРЫНИН ЖИВУТ РЯДОМ

Полянский ездил по всему наместничеству, все спрашивал, все записывал, брал образцы грунта. И вскоре знал он хорошо всю болотистую, лесистую Белоруссию.

Знаниями своими он любил хвастаться и, даже расспросивши про какого-нибудь помещика, заранее любил огорошить того, назвав прямо по имени-отчеству.

Зато Добрынину все это казалось пустой фарсой и напоминало даже действия монастырских затворников, которые через прислугу разузнавали разные сведения о наиболее знатных богомольцах, чтобы поразить их ясновидением.

Знал Добрынин, что предместник его, выйдя из губернского правления, положил в ссудную сохранную казну витебским иезуитам пятьдесят тысяч рублей.

И все время искал он, чем и как ему начать и за что приниматься.

И оказалось, что приниматься нужно за мачтовый лес.

Лес рубили казенный под именем помещичьего и сплавляли по Двине в Ригу, а из Риги за границу.

Лес был товар нужный, и в Риге весь лес был продан на много лет вперед.

Сам Добрынин леса не рубил и потому посмотрел в законах, к лесу относящих, и законов этих оказалось по справочнику юридическому одних названий шесть страниц.

И тогда понял господин Добрынин, что здесь можно набогатиться.

Оказалось, что лес идет и в другую сторону, и оказалось также, что светлейший князь Потемкин подарил генерал-губернатору Пассеку казенного, Петром клей-

менного дубового леса две тысячи десятин близ селения Маяки.

Селение это находится между Бахмутом и Таганрогом, и, кроме сего леса, в двухстах верстах другого нет.

Лес этот был заповедный и дорогой, документа у Пассека на лес не было никакого, кроме приватного письма Потемкина.

На Черном море строили флот, а лес, да еще чужой, для этого годился, рубить нужно было со скоростью.

Съездил по поручению Пассека Добрынин в Таганрог, увидел, снегу много, дров нет, топят тростником, икра дешева, воды мало.

Но лес, оказалось, продавать трудновато, за неимением документов. И нашелся, впрочем, храбрый человек, который купил заповедник, стоящий не менее ста тысяч, за тридцать пять тысяч.

Нужно было торопиться.

И Потемкин, и сама императрица были смертны. А что сказал бы будущий император Павел Петрович о продаже чужого казенного леса, еще было неизвестно.

Полянский же цвел во-всю, в дела каверзные не влезал, но вводил в губернии правление как бы европейское. В свободное же время занимался искусствами.

Был в городе любительский театр, где играла роль героинь девица фон-Бринк, уже двадцать четыре года имеющая.

Полянский заходил туда и на французском диалекте любил объяснять госпоже фон-Бринк мысли славного Дидро, утверждающего, что актер не должен иметь чувства, им на сцене изображаемые.

— А потому, — говорил господин Полянский, — вы с вашей душой, можно сказать, чувствительной и великой, героиню или любовницу изображать не можете, так как сами чувствования эти у вас в душе. И алмаз, природный страж, представить не может.

Девица слушала.

Что у них происходило, кроме разговоров, в точности неизвестно.

В городе ходил еще генерал фон-Бринк, девицы фон-Бринк родственник.

Генерал этот в городе славился своей неопрятностью.

Мальчишки бегали за ним и кричали стихи с богатыми рифмами:

— Генерал, генерал, замарал!

А что замарал — это ставилось по желанию дразнящего.

И вдруг старая госпожа фон-Бринк вызвала своего родственника и предложила ему жениться на прекрасной лицедейке-любительнице.

Бракосочетание состоялось.

Господину Полянскому было в это время тридцать восемь лет. Характера он был противообычного. И всегда влюблялся в чужих жен. Теперь-то ему показалась госпожа фон-Бринк вдвое очаровательной.

Он ходил по канцелярии и произносил стихи, Добрынину хорошо известные.

Любовь препятствием и страхом возрастает
И, в крайность ввержена, на все, что есть, дерзает.

Добрынин, теперь уже советник титулярный, сумевший продать лес и по Двине и по Днепру, мнением Полянского дорожил и перебивал его участливо словами:

— Стихи, кажется, славного господина Сумарокова.

— Да, — отвечал Полянский, — вы, Гавриил Иванович, человек образованный.

И снова повторял те же стихи, и так в день иногда происходило раз по десяти.

Весь город ждал, что произойдет дальше. Спокоен был только господин фон-Бринк. Но зато беспокоился друг его, поручик барон Фелич, который любил генерала с нежностью и был убежден, что генерал обладает

всеми свойствами и даже молодостью, хотя генералу было далеко за пятьдесят.

Полянский нанял квартиру в доме пастора, напротив того, где жил господин фон-Бринк. Таким образом, любовник и муж были отделены одной только улицей, называемой Ветреной.

В одно прекрасное утро, когда воробьи чирикали, как они чирикают и сейчас и в Могилеве, и в Москве, несколько позднее, чем обыкновенно, проснулся господин фон-Бринк.

Проснулся фон-Бринк, спрашивает:

— Где генеральша?

Ему отвечают:

— Не знаем.

Генерал сел пить кофе. Пил он часа два, не торопясь.

Опять спросил:

— Где же генеральша?

Со смущением отвечают ему, что генеральша ушла к пастору.

— Так рано? — сказал генерал. — Что за моление! Скажите, чтобы она шла в беседку пить кофе, а если не хочет кофе, то шоколад.

— Она совсем ушла и живет у пастора.

— Как живет, да там и помещения нет?

— Было там пустое помещение, ваше превосходительство, дня три как почистили его и затянули на полу сукно. И теперь в этом доме мебели стоят в полной симметрии.

— Симметрии, — повторил генерал, — я пойду посмотреть на симметрию.

Он был рассеян. Во время одной стычки у Очакова его придавило рогаткой, которыми тогда обставлялись войска российские.

Слуги объяснили с жалостью, что пойти на генеральшу смотреть нельзя, потому что у дверей ее стоит караул от наместничества.

Генерал удивился:

— Разве она арестована?

Тут в дверь постучали, и сразу вошел штаб-лекарь Авраам Васильевич Бычков со своим причетом и полицейскими.

Бычков тоже был слегка смущен, полицейские, по свойственной их чину грубости натуры, посмеивались.

— Получено, — сказал лекарь, — прошение генеральши фон-Бринк, урожденной фон-Бринк же, что муж ее к жизни супружеской неспособен, и потому она просит у наместнического правления произвести над мужем освидетельствование медицинское на предмет начатия бракоразводного процесса.

Барон Фелич, друг генеральский, кем-то вызванный, взял в руки предписание.

Оно было подписано Полянским.

— Это канальство, — сказал барон.

Генерал был растерян.

— Да как же это все так произошло? И жена моя у пастора, и мебель там стоит в симметрии, и просьба для нее подписана, и резолюция готова, и у вас указ, и вы меня хотите освидетельствовать. И все это, пока я кофе пил.

Штаб-лекарь отвечал с вежливостью:

— Разденьтесь, ваше превосходительство, мы освидетельствуем вас, после чего или генеральша получит право скрываться под сенью непорочного дома пастора, или вы получите обратно супругу в свои объятия.

И тут генерал рассердился:

— Да я же генерал-майор и кавалер святого Георгия, да кроме того у моего же парикмахера Гейслера трое детей и все мои, и вы это знаете.

— Гунтер, как твоего папу зовут? Покажи своего папу.

Прибежал мальчик лет трех.

— Гунтер, покажи папу, — повторил генерал.

— Доброе утро, папа, — ответил ему мальчик, — а показывать на себя вы запретили.

Мальчик, измазанный и трехлетний, доказательство не полное.

— Прошу вас раздеться, — настаивал Бычков.

Тут генерал снял со стены карабин и сказал:

— Господа, я вас сейчас перековеркаю вот этим прикладом.

Увидя, что барон Фелич тут же, а был он человек яростный, дважды в солдаты разжалованный, лет Полянского и с ним в ссоре по карточной игре, увидя все это, лекарь и полиция отступили.

Действие как будто остановилось.

Генерал жил по одной стороне Ветреной улицы, генеральша — по другой, и Полянский ходил в гости к па-стору.

БЛАГОПОЛУЧНОЕ И БЕЗМЯТЕЖНОЕ ЖИТИЕ ГАВРИИЛА ИВАНОВИЧА ДОБРЫНИНА

Правда, за казенный мачтовый лес, пропущенный по Двине под видом помещичьего, получил Добрынин только четвертую часть взятки, а именно двадцать червонцев и потом еще семьдесят пять рублей и то асигнациями. Правда, комиссия по продаже казенного леса господина Пассека тоже прошла не гладко, но зато хорошо прошла история водочная.

Водка вообще играла в наместничестве роль политическую.

В торговле водкой соревновалось старое дворянство с дворянством чиновническим новопроизведенным, которое не имело права водкой торговать по закону, весьма обширному, 1765 года.

Соревновали в водке, то есть в торговле ею, евреи с дворянством, и даже предлагал господин Пассек всех

евреев из Белоруссии выселить по причине их недобросовестной в воде конкуренции с дворянством.

Добрынин водкой сам не торговал, помня хорошо пункт 6 указа 1765 года:

«Которые ж люди не из дворян, а состоят в службе нашей в чинах офицерских, но дворянским правом пользоваться по законам им не позволено, таковых за первый раз корчемства лишать чинов и исключать из службы, а за второй раз посылать на поселение к казенным горным работам».

Но было дело деликатнее.

И менее опасное.

По законам позволено было делать водки на манер французских, то есть фруктовые или виноградные.

Заводчики такой водки обязаны были доставлять ее казенным палатам для испытания через медиков, а палата имела обязанность каждый штоф запечатать, взыскавши пошлину.

И был в Белоруссии господин Аугсперг, граф германский, подданный италийский, житель белорусский.

Представил он водки на пробу, водки были желтые, зеленые, белые, ликерные, пуншевые.

Водки эти уже были разосланы не только в палату, но и каждому чиновнику на квартиру.

Была карикатура старинная.

Австрийский император ест Голландию, представленную в виде сыра, а король прусский смотрит из-за его плеча и говорит:

— И я люблю сыр голландский.

Добрынин любил сыр всяческий, а тут ему водки даже не прислали. Но в то же прекрасное утро, когда чиркали воробьи и удивлялся георгиевский кавалер генерал фон-Бринк, явился к Гавриилу Ивановичу сгорячший Целиковский.

— С водкой, — сказал он, — можно сделать дело.

— А как же, ведь она уже выпущена?

— Выпущена, она выпущена, а другая не выпущена и печатается за городскими воротами, в пустом доме господина Гольинского.

— Справимся по законам.

В указателе к словарю юридическому о водке и вине указы шли сплошь четыре страницы, начиная с шестидесятой пятой.

Особенно подходил указ от 28 декабря 1766 года. Прочтя его, почувствовал Добрынин вдохновение и сказал:

— А для чего не в казенной палате, а сделана ли предписанная законом новая печать? А сколько именно печатается штофу, а не свободно ли за городом вместо одной тысячи штофов запечатать пять тысяч?

— Господин Добрынин, — сказал Целиковский, — поговоримте об этом, но не в казенной палате, а за воротами города, в доме Гольинского.

Дело пошло быстро, поймана была за городом печать не настоящая и водка, той печалью запечатанная, но следствие продвигать дальше было трудно.

Прокурор слушать ничего не хотел, а журнал пропал.

Но в казначействе удалось узнать, что деньги, 10 копеек, со штофа получены не были.

И оказалось, что водка запечатана не фруктовая, а хлебная, и генерал-губернатору тоже не заплачено.

И печать хотя как бы и настоящая, но не совсем подлинная.

А поэтому поступило предписание:

«Сим объявив соделанное по сей части упущение, рекомендую наместническому правлению донос губернского прокурора и стряпчих, обнаружив посредством медицинских чинов, находящихся в Могилеве, поступить по предписанию законов, а впредь печатание оной производить при казенной палате: а чтоб избежать тесноты и траты штофов, то ежедневно назначать к печатанию оной водки штофов от ста до пятисот, приставляя к оной воинскую

стражу, доколе будет производиться запечатание оных, и на этот раз извещать о бытии при сем случае казенных дел стряпчего и медицинских всех чинов, находящихся в городе, и, наконец, нужным почитаю смотрение, чтоб из них водки, по силе помянутых предписаний, делаемы были единственно из виноградного вина и виноградных фруктов».

Водка, конечно, после этого делалась не из виноградных вин, но все-таки приходилось графу доливать туда и виноградную водку. Добрынин же получил к этому делу постоянный доступ и от графа единовременную дань и триста шестьдесят рублей в год закрепленные.

Что же делал в это время господин фон-Бринк?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ГОСПОДИНА ПОЛЯНСКОГО

Любовь процветала в пасторском доме.

Полянский проводил там почти круглые сутки, но дела наместнические требовали иногда выхода, хотя бы на несколько часов.

Со вздохом уходил парижанин из этого театра, где чувства были настоящие. И для того, чтобы не скучать в наместническом кабинете, учредил он курьера, который носил между пасторским домом и наместническим дворцом беспрестанные любовные записки.

Барон Фелич перехватил одну записку для будущего судебного дела, а господин Полянский с решительностью прямо губернаторской арестовал маленького пасторского сына при своей канцелярии.

Тогда пастор и пасторша обратились к губернатору, но и губернатор ничего не мог сделать с Полянским.

И тут произошло событие изумительное.

Пастор и пасторша с криками побежали по городу, вошли в канцелярию наместнического правления, взяли своего сына и отвели домой без всякого предписания.

И тут Полянский промолчал, не решившись начать дело против пастора.

Для города это было неожиданностью.

Оказалось теперь, что не только слава Полянского подорвана, но и дом пасторский, в котором гнезилось счастье господина парижанина, стал домом раздора.

Но тут пришла из Питера посылка утешительная.

Оказалось, что дело о разводе подвигается, и госпожа фон-Бринк скоро будет признана девицей фон-Бринк, так как она сама решилась на освидетельствование.

Довольный, счастливый Полянский со слугою ехал по ревизии в Чериковский уезд.

И тут в лесу встретил он поручика барона Фелича и еще двух неизвестных.

Барон Фелич закричал:

— А, герой могилевский, это тебе не в сенате!

Полянский ответил из коляски:

— Барон, ты будешь не честен, если захочешь мстить. Сделай так, как поступают в Европе, возьми пистолет, я возьму другой, а незнакомые мне дворяне будут нашими секундантами.

Но барон был пьян и весел.

— А в Европе, — сказал он, — не присылают к мужьям лекаря и полицейских для освидетельствования.

Тут схватили Полянского и начали его бить плетью.

Полянского нашли в лесу брошенным и привезли в Могилев крестьяне.

Весь Могилев посетил героя Полянского. Сам Георгий Конисский пришел к нему с утешительной проповедью. Добрынин пришел с Луцевиным. И были приняты сейчас же после медика и написали челобитную на Фелича и Бринка.

Но в наместническом правлении председатель верхней расправы вернул челобитную, как составленную в грубых выражениях.

Пошла ябеда на ябеду, донос на донос. Ахшарумов писал на Полянского, Полянский на Ахшарумова.

Генерал фон-Бринк продал дом, а потом продал мундир, и все съела верхняя расправа.

Нищим ходил старик по улице. И если кто подавал ему, то он останавливал благодетеля и говорил:

— И всеж-таки я не понимаю, почему за жену мою дрался барон фон-Фелич с Полянским и при чем здесь генерал-губернатор, и почему мне теперь негде пить кофе? Зачем я пожалел свою бедную родственницу, зачем я покрыл своим именем чужой грех?

Потом господин фон-Бринк начинал плакать и просить денег на табак. Все это было очень неприятно, и его старались обходить.

ГОСПОДИН ДОБРЫНИН ПРЕУСПЕВАЕТ

Однажды был вызван господин Добрынин к самому генерал-губернатору.

Генерал-губернатор принял его ласково и даже произнес:

— Садись.

Гавриил Иванович сел и посмотрел с удовольствием в большое губернаторское зеркало.

Таких в Могилеве было немного.

В зеркале, на бархатном стуле с золотом и белой эмалью, сидел молодой тридцати четырехлетний, как знал Добрынин, человек. Была на том человеке одежда хорошая, серый шелковый кафтан и чулки в тон. И была у этого человека шпага, и сидел он при самом генерал-губернаторе Пассеке.

Очень приятный вид представляло зеркало.

И даже приятно думать было, что Кирилл Севский хоть он и не сослан в Суздальский и Соловецкий монастырь, и не сидит в подвале, и не гоняет палкой крыс, но все же сейчас со службы снят и имеет только

триста рублей годового содержания, и отдан в монастырь, и монастырем тем не может распоряжаться.

И монастырь-то какой — Киево-Михайловский, бедный.

А господин Гавриил Иванович Добрынин сидит с губернатором, деньги у него есть в росте у жидов на четверных процентах.

И за водку ему платят, за лес ему платят, и нет у него никакого дела в сенате, и не били его нигде плетью.

В торжестве своем не заметил Гавриил Иванович, что губернатор несколько смущен.

Да, Петр Богданович, сенатор, был смущен, кавалер Андрея Первозванного, ордена редкого.

Начал он несколько смущенно:

— Был у меня, дружок, брат Василий, и брат этот жил, так сказать, блудно, или, как бы сказал бедный жил, так сказать, блудно, или, как бы сказал бедный брат в двоюродную нашу сестру Елизавету Ильинишну Обруцкую. И по правилам нашей святой православной церкви не мог вступить с ней в брак. И что же сделал мой бедный брат? Он предложил бедной моей двоюродной сестре, пойдя купаться, оставить платье на берегу реки, а самой уехать, и так мы считали Елизавету Ильинишну утонувшей, а она под именем Надежды Петровны уехала в украинское имение и обвенчалась с братом моим противозаконно и присутствовал при этом...

Гавриил Иванович сидел, весь подобранный, и уже в зеркало не смотрел, а смотрел на генерал-губернатора.

Тот был смущен и продолжал растерянно:

— Присутствовал при этом я и подписался свидетелем, потому что очень любил своего брата. Но брак, — продолжал губернатор, — ведь незаконен. Брат умер, по завещанию оставил состояние сыну, рожденному от двоюродной сестры, сына имя Василий, а душеприказчиком

назначен был граф Гендриков, а теперь граф умер и душеприказчик я.

— Очень занимательно, — воскликнул Добрынин.

Генерал-губернатор посмотрел растерянно и продолжал:

— Императрица несколько раз, помня мое при восшествии на престол, геройство, платила мои долги. Но и сейчас я в долгу совершенно и...

Тут заговорил Гавриил Иванович:

— Вы не хотите отдать имения вашему племяннику, считая его незаконным?

— Да, не хочу, у меня есть свои дети, хотя они тоже незаконные, но они мои дети. Нужно, — продолжал Пассек, — возбудить дело о расторжении брака, кровосмешение не может быть покрыто венцом. И вот я позвал тебя, как законника, и мне говорили еще, что ты дока в делах консисторских.

Гавриил Иванович уже сидел, развалившись.

— Конечно, — сказал он, — ваше превосходительство кругом правы. Брак незаконен. Но при начатии дела привлекут свидетелей бракосочетания, и под суд будет отдан сенатор, всех орденов кавалер Петр Богданович Пассек. И к тому же каноны имеют перемены для лиц высокопоставленных. Наша государыня, мать отечества, Екатерина была в свойстве близком и в родстве с мужем своим Петром Третьим. И по строгим канонам брак как бы не действительный, и наша покойная императрица Елизавета Петровна рождена до брака и в браке только привенчана.

— Тише, — сказал Пассек.

— Не извольте беспокоиться, мы говорим в тайности.

И тут Добрынин понизил голос:

— И был проект, ваше превосходительство, повенчать Елизавету Петровну с племянником ее Иоанном Антоновичем для прекращения претензий Брауншвейгской фамилии. Государыня императрица сама может изме-

нить канон, а дело дойдет до нее. Я знаю, Василий Богданович, брат ваш был другом генералиссимуса Суворова, и неизвестно, кто будет тогда в случае и как рас судят. И дело это кляузное и дорогое.

— Что же ты посоветуешь сделать?

— Я бы, ваше превосходительство, записал бы во все книги племянника вашего незаконного, Василия Васильевича, не Пассеком, а Пасковым, так сказать, с опиской. И выдавать ему покамест деньги на руки. А ежели возникнет спор, то все документы его будут весьма подозрительны.

— Делай, как знаешь, крапивное семя, — сказал генерал-губернатор. — И уходи ты отсюда.

— Ваше превосходительство, — сказал Добрынин, — я уже четыре раза офицер и хотел бы быть награжден сейчас чином коллежского асессора.

— Будешь — уходи и сделай так, как ты сказал.

ПРАВЕДНИК ЦВЕТЕТ, КАК ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА

Цвел коллежский асессор и святой Анны кавалер, Гавриил Иванович Добрынин.

Дела округлялись, он купил себе уже в Могилеве дом.

Дом небольшой, но правильный.

На краю города, четыре с половиной сажени на четыре, четыре комнаты внизу, пятая наверху. Во дворе службы.

Внутри мебели такие, какие нужны, у самого Добрынина шуба небесного цвета с воротником чернобурых лисиц.

Вокруг дома сад, в саду цветы и яблоны, которые цвели, как когда-то в монастыре, и даже розы.

Во дворе из досок настроены разные баллюстрады, закрывающие места, неприятные для зрения и обоняния.

Крыша зеленая, изгородь голубая, на воротах надпись:

«Свободен от постоя».

Приятно сидеть в таком доме, думать о том, что Алеевцев опился и умер, и умер Шпынев водяной болезнью, и исчез Горчаков.

А он, Добрынин, сидит и пьет чай новомодный из кубического лапчатого самовара.

А прохожие нюхают розы и спрашивают друг у друга:

— И чей это такой прекрасный дом?

И отвечает дворник:

— Его высокоблагородия — коллежского асессора Гавриила Ивановича Добрынина.

Только говорят иногда прохожие:

— А, этот, из поповичей.

И встает тогда молодой Добрынин и чувствует в себе кровь Флиоринского и кричит через забор:

— Сам попович, сука!

Так всегда награждается благоденствие.

Болен Полянский, не может встать, водят его под руки, хотя еще он все ведет бракоразводный процесс.

Был у Полянского друг советник Сурмин, человек тихий, семейный, но не подтянутый, здоровьем не занимающийся, и тот человек тоже заболел.

И раз сидел Добрынин в гостях у Сурмина, — сей остроумец был еще полезен.

Слуги сказали:

— Карета господина Полянского.

Хозяин рад гостю и, в халате, вышел в большую залу, опираясь на костыль, и навстречу идет Полянский, старый друг, битый, больной и тоже на костылях, и обоих поддерживают лакеи.

Был Сурмин тих, но умен, читал и вольтерианские, и русские книги, любил атеистическое послание фон-Физина к слугам.

Смотрел Полянский, кривил рот, и вдруг оба начали хохотать со всех слабых сил.

Потом сели на софу, слуги обложили их подушками,

еще раз друзья посмотрели друг на друга, засмеялись, а потом заплакали.

— Ну, что, — спросил Сурмин, — как развод?

— Развод будет скоро, — сказал Полянский, и фон-Бринка уже взяли в Ригу, и там он под судом, а мне его жалко.

И снова засмеялся Полянский.

А Добрынин встал и поклонился с вежливостью и взмахнул своей шляпой так, как делал герой его, баккалавр дон-Херубин де-ля-Ронда, и пошел домой пить вечерний чай под сиренью.

Потому что праведник цветет, как финиковая пальма.

ЕЩЕ РАЗ О СЛУЖЕНИИ АРХИЕРЕЙСКОМ

Тихо. Превосходно тихо жил Добрынин в Могилеве. С любовницей генерал-губернаторской, госпожей Салтыковой, установились у него отношения служебные.

Мария Сергеевна выдала ему доверенность на управление и продажу имения.

Дом стоял, как полная чаша.

По вечерам читал Добрынин книги и газету «Московские ведомости», им получаемую.

Читал, какие пришли корабли, читал о том, что шведский король предпринял путь в Людвиглюст и ожидал в дороге своей кареты.

Читал объявления о продаже домов в Москве, о лошадях и книгах.

Книг выходило все больше и больше.

Империя, так сказать, процветала.

Дорожали и люди. Хороший парикмахер мог пойти даже за тысячу-тысячу двести рублей.

Из Парижа только вести были неожиданные.

Странные были вести, не тот уже был Париж, по которому епископ Кирилл мечтал ездить на осетрах.

Появилось в газете, что в Испании запрещено даже разговаривать о Франции.

Был летний июльский вечер.

Уже село солнце.

Круглый, плохо чищенный месяц, похожий на истертое посеребренное блюдо, на котором выкладывают в алтаре куски просфоры для совершения таинства пресуществления святых даров, висел на небе.

День был субботний, звонили колокола над Могилевом.

Лавки стояли закрытые.

Гавриил Иванович вошел в кафедральный собор.

Богослужение еще не начиналось, но приятно было, что в соборе не жарко.

На клиросе становились, покашливая, певчие.

Кто-то ударил Гавриила Ивановича по плечу. Не оборачиваясь, протянул Добрынин руку, думая, что просят передать свечку.

Но знакомый голос Целиковского произнес тихонько.

— Кирилл Севский здесь.

— Где здесь?

— Мы видели, как они с нашим архиереем вошли в алтарь.

Тут вдруг отворились главные посредине алтаря двери, называемые царскими.

И в малом облачении с пасторским жезлом в руке вышел на амвон сам Флиоринский.

В церкви было почти пусто, никто не интересовался смотреть, как служит заштатный архиерей.

Кирилл пытался придать шагам своим твердость и бодрость, пытался принять осанку горделивую.

Но ноги волочились, голос был тускл.

Не громко пели певчие, как будто боясь потревожить высоких, сухопарых святых, написанных на стенах собора.

Четыре евангелиста с четырьмя апокалипсическими зверями: поющим, вопиющим, взывающим и глаголющим, смотрели с парусов свода.

За иконостасом было тихо.

Добрынин чувствовал в сердце жалость.

«Увы, — думал он, — куда делись Кирилловы живость и проворство? И никого тут он на всю церковь не бранит и бороду свечами не палит. Тихо теперь за иконостасом.

Вот что значит под старость двенадцать лет!»

Так думал Гавриил, подпевал еще бодрым своим голосом пению певчих для того, чтобы хоть этим увеличить торжественное богослужение.

После литии Добрынин зашел к епископу в алтарь.

В алтаре сидел старик уже совсем квельый, заячья рукавица надета была на правую руку епископа, несмотря на летний день.

Кирилл дал благословение и спросил:

— Скажи правду, рад ли ты мне?

— Как мне не радоваться, видя ваше преосвященство, да еще в благополучном состоянии здоровья. Прошу ко мне вечером отужинать.

— Здоровье мое так себе, но заехать могу. Еду я из своего монастыря в Москву, чтоб там полечиться, а в Могилев заехал поговорить с вашим преосвященным Георгием Конисским. Был он мне в Киеве учителем, но, по совести сказать, заехал больше тебя посмотреть. И нужно мне еще в Москве повидать митрополита Платона. Он на меня сердится, нужно мириться. Из Москвы проеду через Орел, Севск, Киев. Вот круг моего путешествия.

— Это движение больше укрепит здоровье вашего преосвященства.

— Дай бог.

— Каковы белорусские дороги показались вашему преосвященству?

— Дороги больше похожи на садовые аллеи, я думаю, они стоят труда и пота здешним поселянам.

— Зато и польза для проезжающих несравненна.

Между тем уже разошлись из церкви богомольцы.

Стало в соборе тихо и гулко.

Георгий Конисский зажег свечу и начал читать по книге молитвы, которые обыкновенно в эту пору читают готовящиеся к завтрашнему дню на богослужение.

Кирилл Севский посмотрел на седую склоненную голову Георгия Конисского с улыбкой и сказал:

— Смотри, Гавриил, уже сорок лет читает этот коротышка молитвы и мог бы знать их низусть и наизусть знает, но вот зажег свечу, он боится, что без свечи не увижу я его благочестия.

Месяц влез на небо совсем высоко.

В саду цвели розы, окна в сад были открыты.

Кирилл не опоздал к ужину.

На столе стояли водки, настоящие фруктовые, белые, красные, зеленые, синие, пуншевые, ликерные.

Кирилл сел в кресло и спросил:

— Что же, ты не женился?

— Здесь невест нет, польские без приданого.

— Приданое ты можешь сам нажить.

— Тогда и женюсь, когда наживу.

Горели свечи, луна светила.

Теперь Гавриил Иванович не боялся луны, казалось, и на Кирилла Севского уже не могло произвести впечатления ни новолуние, ни полнолуние.

— А кольцо-то опять у тебя?

Перстень с алмазом, который когда-то возвращал Гавриил, действительно блестело теперь у него на пальце.

— Как же, память о вашем преосвященстве.

— Слушай, ты знаешь, что мать твоя умерла?

— Как же, слышал! Водки какой вам налить, ваше преосвященство? Водки у нас хорошие, графские, де-

лает их граф Аугсперг, родом итальянец, нации германской, житель белорусский.

— Да, а я свое кольцо продал. Прижимают меня, Гавриил, в монастыре. За все нужно платить и вкладов требуют, а не дашь — беда.

Добрынину было скучно.

— Слушай, Авессаломе, — сказал Кирилл, — зажги еще одну свечку, я хочу посмотреть твое лицо.

Принесли свечей. Тени ужинающих упятерились на стенках.

— Хорошо живешь, — сказал Кирилл, — свечи у тебя аплике, и рано ты всего достиг, как Жилблаз, только не женился, но всего достиг, а дальше что? Но я хочу тебе сказать некоторую тайну.

— Не нужно тайн, ваше преосвященство, я госпожу Радклиф боюсь и люблю читать чувствительные книги Стерна.

— Не шути, Гавриил, ты знаешь...

Гавриил Иванович встал для того, чтобы прекратить разговор, опустил руку в карман и вынул круглую серебряную табакерку.

На табакерке была изображена какая-то сцена духовная, почти стертая, как будто Авраам приносит Исаака в жертву, а бог говорит с облака: «Брось, не надо, я пошутил».

Кирилл, морщась, пил сладкую водку.

Гавриил Иванович развинтил табакерку. В табакерке было второе дно, и там на слоновой кости была вырезана сцена галантная, как монах любезничает с монахиней откровенно.

— Стоит ли говорить о таких тайнах? — произнес Гавриил.

Кирилл Севский встал и замахнулся на Гавриила рукой в заячьей рукавице.

— Не стоит, — сказал он и направился к выходу.

Гавриил провожал его до самых ворот, у ворот стоял

УНБ

старый рыдван, и мелкие лошади были напутаны в него, как овцы. На облучке сидел монах, злой и костлявый.

При выходе епископа монах не повернулся.

Лошади тронули не враз, загремел рыдван.

Епископ сидел, как статуя, не поворачиваясь.

Потом сказал глухо:

— Помнишь Анатолия Мелеса? Тоже умер.

Гавриил опять вытащил табакерку, понюхал табак, поднял глаза. Рыдван уже скрывался за поворотом.

В небе месяц висел высоко, круглый, истертый, как табакерка.

Добрынин улыбнулся, повернулся, придерживая шапку, и легкой походкой вошел в свой дом. Сел, развернул газету.

Утешало, что цены даже в Москве были невысокие. Филейное мясо по три с половиной копейки фунт и задние места по три с половиной и по две с половиной копейки.

Дороже было сало говяжье, шесть копеек фунт, оно шло на вывоз.

Дороговато, но жить можно.

Внимательно читал газету Гавриил Иванович Добрынин, коллежский асессор.

Читал с задней страницы, ища деревни для покупки.

Поговаривали о том, что выгодно вывозить не одну пеньку и сало и кожи, но и пшеницу.

Деревня нужна была Добрынину на вывоз. Хотел он выселять крестьян на юг.



В32 277

Центральна наукова
бібліотека ХДУ
ІНВ. №

